

АЛЕКСАНДР СТУПНИКОВ

Сдохни, но живи...



Александр Ступников Сдохни, но живи...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21548056

ISBN 9785448324024

Аннотация

Человек – это то, что с ним происходит. Или не происходит...
Записки репортера. Из жизни, работы и встреч в разных
странах мира

Содержание

Предисловие	6
Шубка	7
Лузеры	13
Вера	16
Римский день рождения	17
Шабак	31
Как-то так...	38
Фотография	39
Альтруист	44
Бумажный солдатик	52
Рождество в Вифлееме	54
Статист	62
Горько	70
Как стать императором	73
Дзенькую бардзо	75
Албанский бункер	88
Дуче	91
Книга жизни	92
Лунная дорожка	98
В пустыне	102
20 минут	104
Белый снег	107
Гостеприимство	112

Хамас	115
Учите китайский	117
Моисей	123
Конец ознакомительного фрагмента.	125

Сдохни, но живи...

Александр Ступников

© Александр Ступников, 2016

художник Валентин Губарев

ISBN 978-5-4483-2402-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Ты про выколотую свастику, а тебе – о буддизме. Ты про «зиги», а тебе – о древнем Риме. Ты о любви, а тебе – о девках. Ты о героях, а тебе о рекламе. Ты о достоинстве, а тебе – о ценах. Ты – о Родине, а тебе – об идиотах. Ты о людях – а тебе о колбасе. Ты о Кампанелле, а тебе – о мандавошках. Впрочем, о Кампанелле и раньше мало кто знал...

Шубка

Это была такая удивительно красивая шубка. До колен. Коричневая, с длинным густым ворсом и большим пушистым воротником, на который падал и долго таял, совсем как я при ней, белый поволжский снег. И еще, это было чудо. Только недавно, в декабре, нас перевезли из Монголии в Саратов, а в середине января ко мне прилетела Она. Соврав дома, что у нее практика вместо студенческих зимних каникул. И совсем без денег. Сэкономив из карманных рублей только на билет туда-обратно: Минск – Саратов – Минск.

Денег не было и у меня. Какие деньги у солдата – путейца, призванного работать с лопатой и ломом на трассе, в степи.

– Ничего, разберемся, – сказал Володя Хачатурян, армянин из Ленинакана, теперь Гюмри, с которым мы сдружились сразу после моего приезда с другими отморозками, кого, по сути, выслали из монгольских степей обратно в Россию. А я, с большим трудом, напросился с ними, уговорив даже растерявшегося от неожиданности командира батальона.

– Ты понимаешь, кого мы отправляем сейчас обратно? – спросил тогда комбат – Самых отъявленных и уголовных. Тебе что, у меня плохо? Через год спокойно вернешься домой, в свой университет. Я знаю, что исключили. А здесь, всех отправляем, кому место в тюрьме. Понимаешь, как

и с кем опять будешь где-то начинать?

Это был золотой русский мужик, мой комбат, майор.

– Понимаю, – ответил я тогда, как оказалось, чуть позже, явно не понимая. Когда заскрипел, как металл на морозе.

Но это было первое чудо – вернуться. Пусть далеко от дома, но дома.

А потом случилось и второе. Незнакомый Саратов оказался для меня единственным городом во всей великой стране, где жили близкие отца. Он и сам из тех краев. Я успел встретиться только с одними, живущими бедно, в одной комнатке маленького частного дома. Познакомился. И запомнил, потому что вкусно, за год, поел. Но это оказались потом действительно родные люди. Зимой, в их доме – комнате мне одному, в той же самоволке, под страхом гауптвахты, армейской тюрьмы, можно было поместиться только на полу между двух диванов. А тут вдвоем...

Хачатурян, между тем, собрал у ребят целых тридцать рублей. Их не вытряхивали – их дали. Девчонки и даже очень редкие у кого-то жены издалека к ним, на втором году армии, не приезжали.

– Рестораны вам не нужны, – пояснил Володя – Ресторан я вам проставлю. Это мои проблемы. А купить поесть хватит. Вопрос в другом – где ты ее, когда приедет, устроишь? Она знает? – Нет, – удивился я – Она об этом и не думает.

– На гостиницу денег у тебя нет. Да и солдату номер не да-

дут по военному билету. Вы что, будете ночевать на вокзале? Так тоже нельзя.

Накануне, только приехав, я сразу пошел к ребятам-связистам. И они, поздно вечером, после отбоя, уже за полночь, давали мне связь с Ней. Связисты были на втором этаже штаба части. И надо было иметь известную наглость и удачу, чтобы заходить туда, после вечерней поименной поверки и отбоя, проскакивать наверх и обратно, опасаясь попасться на глаза дежурным офицерам. А потом еще, через двор, нырять, оглядываясь по сторонам, в казарму. Но я шел. Терять было нечего. А что такое камера, на время, уже знал. Не страшно. Тоже жить можно, если действительно хочешь жить. А не ждать, пока придет какое-то «время».

С Ней мы обычно говорили час и больше. Ни о чем. И, разумеется, бесплатно. Ребята прикрывали. Но вскоре один из них остановил меня у казармы и показал кивком зайти на лестницу. Я даже не помню, да и не знал его имени.

– Будь осторожен, – сказал парень – Тут приходил офицер из особого отдела, кто-то сообщил, что ты ходишь звонить. Он расспрашивал нас, интересуешься ли ты на каких волнах мы работаем, какая у нас аппаратура. – Ты, что? Я в технике полный ноль, – возмутился было я. – Мы так и сказали. Правду. Но кто знает, что у них в мозгах? Есть и больные. Будь аккуратен и, если хочешь, приходи поговорить со своей девчонкой только в мое дежурство.

Я тогда не спал всю ночь. – Ну, думаю, вернулся ты на Родину... Поэтому и звонил уже редко. А тут и она прилетает. Но куда?

Это была проблема. И опять – чудо. Кто-то подсказал попробовать найти каюту у стоящих зимой на приколе корабликов на Волге. Я ушел в самоволку и стал искать, обходя военных и патрули. Места там не было. Но морячки, проникнувшись, подсказали странный адрес. Часть общежития строителей, но расположенное в многокомнатной квартире обычного жилого дома. И вскоре я уже стоял перед звонком в дверь. В длинном коридоре там были пять комнат, где жили мужики-строители, работающие в три смены.

– Ребята, – просто сказал я открывшим и слегка ошалевшим от солдатской формы и моего рабочего бушлата – Служил год в Монголии. Тоже стойбат, только на железнодорожной трассе. Перебросили сюда и моя девушка на днях, сообщила, прилетает....

Почти без слов они освободили нам комнатку, где был только стол у окна и две одноместные, солдатские же кровати на панцирных сетках – пружинах с простым одеялом и простынями.

– Мне нечем заплатить, – напомнил я. – Еще бы... – не удивились они – Но в магазин сбегай.

Вскоре, тряся яйцами и поджилками по сторонам, чтоб не нарваться на военных, с четырьмя бутылками дешевого

вина, в сетке, я вернулся и получил ключ от общей двери.

Русских, не по названию, настоящих, я встретил впервые только в армейской Монголии и там, в Саратове. Такие вот удивительные оказались люди. И много. Спокойные, терпеливые и не злобные. Если сам не гнилой. Попадались и другие, но гораздо реже. Та же мелкая шушера, даже при погонах. Не больше. Так она есть везде: и планктон, и пираньи.

А тогда, уже на следующий день прилетела она. В королевской своей шубке. Я повез ее в эту комнату, как в шикарный отель. И мы оба даже не подумали, что это нечто иное. Думают, когда неспособны, убогие, чувствовать.

В части, узнав и удивившись – бывает же такое? – мне сразу дали... неделю отпуска с условием, что я каждый день должен там появляться. Трасса в степи начнется с февраля, а пока можно. И это тоже – Россия.

И мы гуляли. По городу и по морозцу. Днем. А вечерами...

– Знаешь, что я больше всего запомнила, – сказала она как-то через много лет после этого – Последний вечер. На столе бутылка простого вина, колбаса, порезанная на ужин, на газетке, полумрак куцей лампочки, тишина и падающие снежинки за окном. На зеркале чистого яркого звездного неба. То медленно, то густо. Это было чудо.

– Конечно, помню. И еще, твою шубку, прямо под зеле-

ные глаза и стройные ножки. Ты ее и потом носила, вплоть до Севера. Такая шуба, настоящая, королевская.

– Моя шуба? Дорогая? Так она же кроличья, из шкурок кролика. Ты что, не видел?

– Даже не подумал. Видел королевское. И королеву. Значит так и было...

Лузеры

«ЦРУ США приглашает на интересную работу. Собеседования с желающими будут проводиться в четверг и пятницу в аудитории №4».

Объявление, напечатанное на обыкновенном листке бумаги, повесили на информационную доску «русского» факультета колледжа. И еще закрепили цветными кнопками.

Наверное, это сделала женщина, или гей, или так рекомендовалось в какой-нибудь секретной разработке по массовой психологической обработке населения. И правильно. Курс завершился, и студенты начинали нервничать. Они не боялись будущего. Они просто искали, где начать самый трудный этап – первую работу, желательную связанную с тем, во что они или их родители уже вложили и свое время, и немалые деньги.

– Что вы так волнуетесь, – я искренно не понимал беспокойства ребят, которые уже почти традиционно пришли вечером ко мне в кабинет поговорить за чаем или за баночкой пива обо всем на свете. Помощнику декана это не запрещалось. Студентов привлекала живая языковая практика и неизвестная информация «от первоисточника», а для меня открывалась уже настоящая Америка. Все студенты здесь были из типично среднего класса, и не из Нью-Йорка, а из больших и малых городов глубинки.

Самое трудное – это давать общие советы. Они ничего не стоят, но дорого обходятся.

На информационной доске уже есть несколько предложений от работодателей и кафедр славистики. Двадцать пар глаз ожидали от меня чего-нибудь конкретного.

– В конце концов, можно пойти в ЦРУ, вы же видели объявление.

Они среагировали сразу. Как в боксе.

– И не подумая, – Ричард из Иллинойса, самый боевой, сказал как отрезал.

– И я не пойду. И я...

Мне показалось, что их нежелание упускать этот шанс связано с каким-то особым отношением либерального среднего американца к «конторе». Что-то из серии «не хотим играть в рыцарей плаща и кинжала». Но я ошибался. И урок, который на этот раз не я им, а они мне дали, потом очень и очень помогал понять и страну, и ситуации, и многих американцев, ставших мне друзьями.

Наперебой, но едино, студенты почти возмутились.

– Это же государственная служба.

– И хорошо. Там наверняка и зарплата приличная, и стабильная работа, и «бенифиты» – будь здоров, то есть медицинская страховка, пенсионка и прочие радости, которые оплачивает не сам работник, а дядя Сэм.

– Вы что, не представляете себе, кто идет работать на го-

сударство?

Ребята, похоже, искренне удивились то ли моей наивности, то ли невежеству.

– Только те, кто не способен ни на что. Самые бездарные. Кто не может заниматься делом или построить свой бизнес. Столько лет учиться, брать кредиты, чтобы потом их выплачивать – и все для того, чтобы сдать и стать приложением к государственному креслу и каким-то идиотским инструкциям? Да вы что...

На государственную службу у нас идут неудачники, «лузеры». Чиновник, когда общается с человеком, успешно работающим «на себя», это чувствует и нередко пытается исправить несколько предвзятое впечатление. Он никому не интересен, даже себе. Понимает, что гордиться нечем. А мы – молодые. Мы хотим себя попробовать и построить свою жизнь, что-то делать, а не отслеживать спущенные кем-то циркуляры. Вот если уже не получится или возраст прижмет, тогда можно и сдать. А ЦРУ или какая другая контора – значения не имеет.

Они еще долго говорили, удивляясь, почему человек, которого они уважают, не понимает таких простых и обыденных истин.

А я к тому времени, в первый трудный год эмиграции, уже вывел для себя только одну – Всё хорошее в мире делается по-глупости.

Вера

Когда человек говорит с самим собой, это называется болезнью.

А когда с никем – духовностью.

Я отложил листок и сказал самое заветное:

– Хочу только одного: чтобы отец и мать были живы...

И посмотрел на их фотографию в рамочке под стеклом.

Но в нем увидел себя, отраженного светом на их лицах.

И понял, что они уже никогда не будут жить своей жизнью.

А единственно – моей.

Но с ними я никогда не буду одинок. Одинокими бывают только с живыми. И потому мне незачем жалеть ни их, ни себя. Жалеть можно только Бога.

Он тоже одинок.

Но бесконечно.

И за это я готов простить ему все.

Даже неверие.

Римский день рождения

С утра было 32 года. И дождь. Казалось, что весь день просижу на месте, благо иранцы, с которыми я живу, двенадцать человек в одной комнате, на раскладушке, как и они, свалили куда-то хором по своим делам. И началось.

Зашел Володя, коренной москвич. Говорит, скучно с родителями. Его, уже пожилой, отец в тридцатых годах был ярким коммунистом. В 1936 году, как «троцкиста», его арестовали и быстро дали шесть лет лагерей. Он не мог в это поверить – за что? Думал, разберутся и отпустят.

Отправили в лагерь на Колыму. Тогда их, заключенных, значительную часть из которых составляли убежденные коммунисты, посадили во Владивостоке на корабль и повезли морем в Магадан. Охранники переодевались в штатское, чтобы японцы, которые в то время владели Южным Сахалином, не догадались, что это человеческий «спецгруз». Заключенных держали и в трюме, и на палубе, чтоб поместились. В стране тогда много было коммунистов, которые воевали за революцию еще в Гражданскую войну. Но уже подросли новые, при несменяемом руководителе, ставшим вождем. И «старых», с их еще живой, как назло, памятью надо было куда-то девать.

В итоге, мест не хватало ни на свободе, ни в арестантских этапах. На тех же кораблях.

Некоторые из заключенных прыгали в океан, а японцы, курсировавшие рядом, их подбирали. Отец Володи не прыгнул. Не потому что боялся, а поскольку считал, что японцы – недруги СССР. А «наши» должны все-таки разобраться, что он никакой не враг. Так многие думали, пока не находили себя у расстрельной стенки или, в лучшем случае, в лагере.

Он потом всю жизнь себя упрекал, что не прыгнул тогда за борт.

На Колыме, в лагере, ему повезло. Какой-то врач-еврей взял его, почти мальчишку, но большевика, значит «троцкиста», истопником в тюремную больничку. И это стало спасением. Более того, войну он пробыл в лагере. А не на фронте.

Когда закончился срок, вернулся в Москву, работал, но в конце сороковых годов началась новая политическая «чистка» и о нем опять вспомнили. Снова арестовали и приговорили 10 лет за какую-то невнятную измену Родине. Снова как коммуниста-троцкиста. Их уничтожали под корень.

Опять Магадан, но он и в этот раз выжил. После лагеря в Москву домой не пустили и он, женившись, переехал в Пермскую область, где, самоучка, стал бухгалтером. Жили замкнуто и бедно. Но живые, тихие и потому на свободе.

В 1961 году его наконец реабилитировали, как невинно осужденного. Молодость и зрелость ушли в костер лагерей. А отца Володи просто вызвали в Москву, вернули партийный билет и извинились. Работник, который занимался его «делом» искренне удивился при встрече – мол мы так

и не поняли, за что вы сидели?

В общей сложности, в лагерях и на поселении он прожил 25 лет, всю сознательную активную жизнь. Потому и дети у него были поздние.

– Вот такая история моего отца, – сказал Володя – Когда мы подали на выезд из страны, потому, возможно, и не стали нас держать.

Дождь перестал. Италия снова заиграла своим многоцветием и жизнерадостностью и мы пошли в одно из двух мест, где могли встречаться эмигранты: помещение еврейского клуба «Шалом» и христианского, без названия.

Помню, заполняя анкету одна кандидат наук спросила меня – А как правильно писать в графе «национальность»: еврейка или идишка? Мы ведь уже на Западе.

– Пишите «ивритка» – хотел сказать я. Но передумал.

Врагов надо наживать на собственном успехе, а не по чужой глупости.

Другой якобы выпускник аспирантуры уточнял – А что это за город, Бостон? – Город, – ответил я. И он глубокомысленно кивнул, понятливый.

В клубе были кое-какие книги, эмигрантская периодика, место новостей, сплетен и беспутного времяпрепровождения тех, у кого не было денег. Те, кто их имел, подкупив бдительную только для бедных таможеню или вывез что-то существенное, торчал, торгуя палатками и дрелями, на бло-

шином рынке в Остии. А то и просто гулял, осматриваясь, по Риму и стране.

Даже Италия, как и жизнь, у каждого была своя.

В клубе я не задержался, поскольку был приглашен на званый обед к замечательным ребятам, москвичам Рему и Рите.

– 32 года, – сказал никогда не унывающий Рем – Нельзя проводить в одиночестве.

Я не возражал и буквально на последние деньги, оставив немного, купил бутылку шампанского.

Когда достаточно, мало не бывает.

Поскольку эмигранты жили и снимали комнаты кто-где, в зависимости от получаемых и провезенных денег, то письма они получали на стабильный адрес «клуба». Походя, на столике, я и захватил, увидев фамилию, для знакомых письмо, с которым произошла курьезная и примечательная история.

Когда я пришел к ребятам, то оказалось, что письмо было Резницкой, а не Зерницкой, как звали Риту. Нет – так нет.

Я положил его в сумку и, когда мы поели борща и даже мясное «второе», распили шампанское и посидели, пошел назад, в «клуб», отнести это самое письмо обратно.

У входа на улице меня уже ждали две дамы. Бывший торговый работник, хотя и женщина, с ответственным лицом и безответственными глазами. А рядом ее дочка, моих лет.

Они были злы и почему-то напуганы – Ты зачем забрал наше письмо?

Думал, что порвут, но обошлось. В эмиграции, пока не определились с документами, все стараются держаться потише. Точно, как новички в тюремной камере.

Объяснил. Вроде, выяснили. Но уже к вечеру, когда я вышел из комнаты, наполненной вернувшимися иранцами, проходивший мимо грузинский еврей, из наших, отвел меня в сторону от подъезда и спросил – Извини, а что у тебя вышло там с письмом?

– Да ничего. Небольшое недоразумение.

– Ты что... Весь вечер эти две коротконогие москвички вовсю шумели у синагоги, что ты забрал их весточку от родных, отнес куда-то, чтобы открыть и сфотографировать для каких-то своих дел. Ты ведь журналист?

– Вроде был, – растерялся я, не понимая о ком и чем он говорит. – А ты правда не открывал письмо?

– Правда, успокойся, – мне стало муторно. И выпитое днем дешевое итальянское шампанское встало в глотке, как моя утренняя тридцатидвухлетняя стойка под простыней в гордом окружении почти дюжины персов, бежавших от своего Аятоллы.

– Эти бабы, – пояснил он – Решили, что ты относил их письмо в ЦРУ.

– Зачем в ЦРУ?

– Как зачем? – удивился мне собрат из Грузии – Чтобы

выслужиться и получить там работу.

Мне хватает собственной глупости, чтобы еще обсуждать и чужую.

– Что стоим, качаясь... Из подъезда вышла солидная пара львовян с ухоженной собачкой на руках, болонкой в красных ленточках. Они снимали благоустроенную двухкомнатную квартиру рядом, на лестничной клетке, и все беспокоились – Как это ты, один русский, живешь с ними, не евреями, а иранцами, в одном помещении?

– Куда положили, там и живу, – отбивался я, задыхаясь от запаха духов и смеха.

– Одеяло-то хоть есть? – подшучивал сосед от нечего делать.

– Без него легче.

А ведь не врал. Вторую простыню, вместо одеяло, у меня украли в первый же день и ночами я укрывался, расстелив поверх себя, рубашку. Поскольку их было у меня всего две, то иногда еще влажную после легкой стирки.

Но я не переживал. Жизнь научила воспринимать данность, как она есть. И будет. Все одно лучше, чем когда-то в армии, когда в бараке у железнодорожной трассы, где рабоботали, мы спали в бушлатах, а утром осторожно отогревали руками примерзшие к подушке волосы.

Так те, кто остался по домам тискать наших девчонок то-

гда учили нас Родину любить. До посинения.

– А мы сначала в кафе и потом в синагогу, – никак не проходил мимо сосед – Погуляем.

– Развлечемся, – подхватила его жена, крашенная как картина художника-примитивиста – Делать там нечего, но интересно. Ходят эти, верующие, в шапочках на голове, ремнями обвяжутся и шепчут что-то. Цирк, да и только. И зачем им эта шапка? Без нее, говорят, нельзя. Но кто-то ж их содержит, деньги дает?

– Время – оно и есть деньги, – весомо отвечает сосед – А они его растрачивают впустую: кто на Бога, кто на какие-то идеи. Заплатят, я тоже шапочку одену, даже две.

И они идут дальше, гордые, с собачкой, как со скипетром. Впереди Америка. Под ногами Италия.

– Цеховик, – уважительно шепчет мне на ухо грузинский еврей – Рубашки шил во Львове, фирменные. Этикетку наклепили и на рынок. Умеют люди жить, счастливые.

– Счастливые, – соглашаюсь я. И молчу. Здоровая психика – нацелить себя только на деньги. Из всего и всех вычленивать, где есть прибыль. Ничто и никто не отвлекает. Не гложет. Одним – Родина или смерть. Другим – Родина или деньги.

– Надо съездить в Рим, – подумал я – Пошататься по вечному, как Жид, городу.

Тем более, что туда пригласила молодая пара. Русский

по имени Юра и его жена-американка Китти. Она просто жила в Италии, все равно где и даже как. А он возил экскурсии для новых эмигрантов и писал философские статьи, которые никому не показывал. Потому что нигде не печатали. Но американке было одиноко в Италии. А ему скучно, в смысле «поговорить». Так они встретились и сошлись. На бордаж.

Юра когда-то жил в Ленинграде и попал в тюрьму, по его словам, за переводы Ницше. Врал виртуозно, но страшно. Зато уехал довольно легко. Два года учился на философском факультете в США, потом бросил, надоело. И переехал в Италию. Помыкался, но освоился. И с женой, и с экскурсиями. Они специально навещали приморский Ладисполь, чтобы, в центре городка, «у фонтана», русской эмигрантской «тусовки», набрать людей на очередную поездку. Во Флоренцию или Венецию.

– Поехали? – спросил Юра.

Я глянул на свой кофе, вместо обеда, и понял, что уже проехал.

То же самое мне сказали накануне и двое знакомых немцев из приволжского Камышина, которые долго добивались выезда в свой фатерлянд и наконец уехали. Затем прислали письмо с адресом и телефоном. И, когда я позвонил им из Италии, отметить, они немедленно предложили приехать на машине в Рим и забрать меня с собой в Герма-

нию. – Нет документов? Ерунда. Провезем. Десять минут в багажнике...

Тогда в Европе были границы, но на Западе проезжающие их машины, как правило, не осматривали, бросив взгляд на паспорт. Ребята предложили завезти к себе и там сдать в полицию. Все равно, мол, ты без паспорта и гражданства.

Их забирали при выезде из страны. Диплом университета и даже автомобильные права у меня тоже изъяли в обмен на выездную визу еще дома. Импотенту, но зато полковнику, будущему патриоту новой Украины, как я увидел его много позже, хотелось побольнее укусить напоследок. Так что ничего не было, по сути. Ни документов, ни денег. Выездная виза, да сам.

– Тебе хоть в Израиль, хоть в США, хоть в Германию, – сказали ребята по телефону – Лучше у нас, в Бундесе. И мы поможем, с радостью.

Я отказался и с тех пор больше о них не слышал, потерялись. Жизнь еще не научила беречь людей. В молодости кажется, что их вокруг много. Но с годами, как кольца ствола дерева, сжимают свои круги все уже и теснее. Зато безопаснее.

Терять было нечего и поэтому хотелось всего. А это всегда означало для меня – любимой работы. Надо искать варианты. Я вышел к трассе и стал ловить автостоп в Рим. Ма-

шины сначала не брали. Наконец какой-то Пауло, в фургоне с фруктами, притормозил и, уже по дороге пояснил – Много наркоманов и бездельников развелось. Вот и не берут попутчиков, опасаются. И куда катится Италия?

Я смотрел в окно, на кипарисы и домики из камня. И мне было все равно.

Юра забрал меня уже в Риме на машине, советском «жигуленке». Ржавом и бодром, как чиновник на пенсии. На этой машине приехал в Италию какой-то чех-турист, но остался. И продал ее, плача от бессилия, полуживую, но бегущую, за сто долларов. Квартиру Юра не снимал. Родственники жены-Китти, хотя и американцы, отдали ее молодым жить бесплатно. Но одну из трех комнат Юра сдавал русским эмигрантам, которые, дожидаясь визы в США, не хотели жить вне Рима и среди таких ж, по статусу. И платили за это из вывезенных с собой денег.

– Деньги – это то, что ты и есть, – пояснил Юра.

– А если их нет? – удивился я, еще, во всё, советский.

– Значит ты никто.

– Не человек, что ли?

– Почему? Человек-никто.

Я почувствовал себя грушей для бокса и пожалел, что поехал. Так и случилось.

Мы посидели вчетвером: он, Китти, я и бутылка красного вина. Закуски не было. Был вечер. И чудесный Рим. Но где-

то далеко, за окном.

Юра рассказывал, какие они примитивные, эти эмигранты. И «совки». И итальянцы, сплошь «левые».

А я так и не узнал, как искать работу. И где. И чем он занимается. И чего хочет от этой жизни. И Италии. И зачем всё это ему надо. И мне тоже.

С невеждами говорит невозможно – они и так всё знают.

Уже прилично стемнело и, не буду скрывать, я подумал, что хозяева предложат остаться до утра. Как это практически всегда было в затянувшихся гостях в той же Москве, Риге, Тбилиси или Алма-Ате. Но Юра извинился, что телефон у них работает только на прием звонков из экономии и такси он вызвать не может. Чем обрадовал, поскольку я боялся, что тогда мне не хватит на электричку до Ладисполя.

Из недавно полученных от организации ХИАС, опекающей свежих эмигрантов, каких-то денег треть уже ушла за раскладушку в комнате с иранцами, треть – на посылку домой. И оставалось то, что оставалось.

Кое-что больше, чем ничего.

Я посмотрел по карте дорогу на вокзал и уверенно вышел в Рим. Темный и пустой. Прямо, как я, еще за столом. Но на улице, от нависших толстостенных древних домов этого вечного города моментально наполнился желанием выжить. И жить. Или хотя бы дойти до вокзала.

Через час или два, в ночи, я наконец вышел к нему, пришибленному гулкой тишиной и молчаливыми неторопливыми пассажирами. Но, на самом деле, их оказалось мало. А поездов до нужной мне станции уже не было совсем. До утра.

– Какие проблемы? – подумал я – Пересажу на вокзале. Все равно никто не ждет.

Но это была Италия. Вскоре прозвучало какое-то объявление, все пассажиры дружно встали и медленно поползли к выходу. А я за ними. Оказалось, что здесь, в час ночи, вокзал закрывался.

– Поздравляю, – сказал я себе – Тебе уже 32. И снова есть, с чего начать, с поезда. И к чему стремиться.

Народ вокруг деловито и привычно устраивался на каменных плитах вдоль вокзальных стен. Полиция не мешала, да ее и не было видно. Я занял место, перекинувшись парой слов, между каким-то немцем-туристом с цинковкой из его рюкзака и худым, долговязым, белесым, словно сигарета, австрийцем.

Дальше, разламывая картонные ящики, укладывалась женщина-бомж и худая скуластая вокзальная шлюха в миниюбке. Она уже не зыркала, как еще недавно, по сторонам. Не на кого. Мужчины для таких – это деньги для расплаты или, на худой конец, прокорм. А вокруг были только мы, некто.

Я попробовал было ухватить остаток картона от ящика, но в него, одновременно со мной, вцепился арабского вида парень. Он скалил зубы, резко рвал на себя и злобно шипел готовностью к драке. Мне не хотелось попадать в полицию или получить нож, тем более, что ближайшие улицы уже тянули темнотой и там было легко скрыться любому. Я уступил, расстелил пару подобранных газет и почти сразу заснул, несмотря на холод от камней снизу. После моих зимних барачков в армии, в Мордовии, это было почти привычно. Неудобно, не более.

В четыре утра, с зябким быстрым рассветом, вокзал снова открылся. И люди переползли вовнутрь. Скрюченные и такие же пришибленные, как и ночью.

Я спросил билет на электричку, назвав «Ладисполь», как вдруг неожиданно услышал на чисто русском языке – Вам туда и обратно?

Пожилой кассир-мужчина доброжелательно смотрел, глаза в глаза.

– Только туда, – машинально ответил я. И добавил, удивленный – Вы что, русский?

– Нет, – улыбнулся он.

– А откуда тогда так чисто говорите?

– А... – Он махнул рукой. Широко, по-итальянски – Война. Плен. Сталинград.

Солнце из-за желтых, средневековых, потеплевших домов уже высвечивало, согревая, вокзальный зал. Где-то урчали автоматы с кофе, натошак.

И я снова понял, что жить, все-таки, хорошо. А Италия – это всего лишь очередное продолжение уже состоявшегося начала.

Какая, на фиг, разница – когда.

Один человек мне сказал, что правде надо смотреть в глаза.

– Осторожно, не ослепни. – ответил я. И подумал – Смотреть правде в глаза то же самое, что смотреть смерти в лицо. Мало кому понравится.

Но иначе и начинать не стоило.

Шабак

Один человек мне сказал, что за ним следят. Но сначала он предложил выключить мобильник и снять телефонную трубку на аппарате.

– Брюки оставить? – спросил я и подумал: «Неужели маньяк?».

Мысли путались, с кем попало.

– К вам полиция, – секретарь выглядела скорее встревоженно, чем испуганно. Но дверь в кабинет она за собой оставила преоткрытой. Работа такая.

Секретарь была не моя, а начальника по коридору налево. Но он с ней не спал. Он делал это на стороне.

В офисе, где все прослушивалось его «жучками», ему это делать было нельзя.

А мне можно.

Но я тоже с ней не спал. Потому как платил ей он. И она ему же отчитывалась.

Я же сказал – Работа такая...

– К вам полиция, – звучало многообещающе. Особенно с утра.

И свежее солнце, прищученное кондиционером и полосатыми ребристыми шторами, вошло у меня за спиной, как понятия, словно шаферы на свадьбе у молодоженов.

Встало и замерло.

Все опустилось.

В Израиле к полицейским относятся по-разному. Если не сталкивались, то хорошо. Отсутствие личного опыта всегда облегчает жизнь категоричностью слабительных суждений. Но если такой опыт уже был, то израильский полицейский вполне сопоставим с российским.

Не место красит человека, а человек красит место.

– Хотя в жизни всякое случается. И очень часто, – сказал как-то начальник снабжения Дома быта города Могилева по фамилии Черняк, когда на неделю направил меня на специальное задание следить за газетным киоском, где работала его жена. Он подозревал ее во внеурочных связях и женской хитрости.

Порочной, как дуршлаг.

И я благополучно отгулял это время на днепровском пляже и отчитался, что никаких подозрительных контактов у нее не было. Но, может быть, пять рабочих дней – это мало для вскрытия?

И отгулял еще неделю. Дома.

И сохранил им семью. А ведь мог и разрушить.

Один человек вошел ко мне уверенно и резко.

Как политик, до бровей накачанный формалином имиджмейкера.

Он был в голубой форменной рубашке, спрятанной под

коричневый ремень с дырочками – на вырост по службе. В темных туфлях под белые, словно ручки христианского младенца, носочки.

В прическе с залысинами бедолаги, пережившего всех, кроме себя.

Черные-пречерные погоны бесстыдно болтались вразлет, как бурка Чапая на плечах супермодели. А на мятой груди вместо сердца отвисал нехилый бэйдж с именем, чин по чину.

И еще брюки – главный компонент настоящего мужчины.

Если он не женщина. Не шотландец и не индеец.

А мы были в Израиле, где встречается все.

И даже то, что больше нигде не нужно.

– У вас можно говорить? – он огляделся и внимательно прицелился взглядом прямо в меня.

– Вроде да, – я показал на плакат с перечеркнутым красным словом из трех вечных букв и подписью «Здесь не ругаются».

– За мной следят, – сказал один человек. И я понял, что это не полицейский.

Полицейские носят фуражку.

– Воин, почему вы без головы? – спросил меня однажды старший лейтенант Лукинский, подловив на плацу части без пилотки. И я сразу же осознал, что армия – это все.

Но не для всех.

– У меня к вам дело. Секретное. Снимите трубку на телефоне и, если можно, выключите мобильник, чтобы нас не прослушивали. Шабак (служба безопасности Израиля) везде.

– Успокойтесь, – я достал из-под ножки стола початую бутылку водки и подумал о начальнике: «В гробу я его видел».

– Смелый вы... – заужал он, думая о своем.

Мы оскопили по рюмочке.

Полгода назад он устроился работать охранником в крупный супермаркет. Получил форму и стабильный заработок, но вдруг почувствовал, что его хотят убить. И не просто так, а электронным облучением. Медленно и подло. Сначала установили антенны в доме напротив его квартиры и запустили свои дозы, чтобы зомбировать. Когда он поменял жилье, все снова повторилось.

– Я резко полысел, – шептал один человек мне на ухо, – Интимные проблемы, извините, появились. А все потому, если вы спрашиваете, что я бывший офицер, в России. Нас здесь уже много, вот «они» и испугались. И начали, втихаря, изводить. Но я-то свой.

– Патриот, – мне полегчало. – Это диагноз. У них повсюду враги.

Было щекотно, но значимо. Как в президиуме.

Он вдруг вытащил из целлофанового пакета с надписью «Спасибо, что вы с нами» пачку серебристой фольги, рас-

правил ее в шапку и одел на голову.

– Это отражатель. Я с ним все время хожу по дому и даже на ночь не снимаю, потому что меня облучают уже из соседней квартиры.

В дверь, как бы проходя мимо, заглянула секретарь, и по ее побледневшему лицу я понял, что в мою папку ляжет еще одна рапортичка начальнику. И с меня спросят, что это за князь Серебряный?

– Может, вам уехать? – я спрятал бутылку под стол. Пить расхотелось.

– Куда там... В Узбекистан? Нет. Это моя страна. Помогите. Вы здесь многих знаете. Наверняка есть знакомые и в Шабаке.

Я промолчал, но выпрямился в кресле.

Глаза вдруг стали оловянными, словно в уголовном розыске.

Запахло паленым солнцем

– Так вот, – продолжал он. – Скажите им там, кому надо, что я никакой не враг. Вас послушают.

И надежда тлела в его глазах, как головешки костра, в котором человек сжигает себя сам, злорадствуя и жалея одновременно.

– А что делать, – подумал пи-ц, – Кроме как назвать себя будущей вечной жизнью? Иначе не поверят.

– Отвернитесь, это секретно, – я защелкал по костяшкам телефона. – И он натянул себе шапку на голову. До самого Адамова яблочка, которое Ева успела надкусить, не познав.

Фольга хрустнула и затихла.

– Але, Меир, извини, буду говорить на русском, чтобы твои коллеги не поняли, – меня понесло. – Дело важное. Тут у меня один репатриант из бывших военных, хороший мужик.

Я вытащил его удостоверение личности

– По фамилии Белаконь. Да. «Бела», как Белла, твоя тетя из Хайфы. И «конь», как конь с мягким кончиком, ну ты помнишь...

– Сионист, – подсказал один человек.

– Сионист еще тот, с самого детства. Так вот, ваши ребята его там, вроде, облучают почему зря, а он наш. В смысле, свой. Я за него ручаюсь. Меир, сними с него наблюдение. Сделай для меня. Пусть парень живет спокойно.

И тут я увидел, что один человек качнулся на стуле – то ли от нервного напряжения, то ли от духоты.

Фольга – это еще тот отражатель виртуальной реальности.

Мне стало страшно, как на собрании пацифистов.

Еще не хватало вызывать в офис врачей – эту белую смерть в простынных халатах.

– Все. Снимайте свою «буденовку». Идите работайте. Больше вас никто не побеспокоит.

Он смотрел на меня, как маленький пупс в подвальной купели вифлеемского храма рождения Христова Палестинской еще автономии. Светло и непостижимо.

Все дети рождаются Иисусами, но потом живут с кем ни попадя. И умирают как попало.

Один человек светился, словно только что вышел из дверей туалетной комнаты.

Прочищенный, как после исповеди в публичном доме.

Что нужно в этом мире, чтобы порой сделать другого человека счастливым? Кусочек лживой правды под стельку отвисшего языка жадности. Да щепотка тепла на неистощимый клитор самолюбия.

Один человек сказал мне, что долг он при случае отдаст.

– Только не последний, – ответил я и подумал: «А где он купил фольгу, прости Господи?»»

Как-то так...

– Живут же люди, – подумал бродячий кот, оглядевшись в мусорном баке.

– Живут же, – подумала домашняя кошка, увидя удирающих от собак котов.

– Живут же, собаки, – подумал бродячий кот, заглянув в окно жилого дома.

– Так не живут, – подумал бродячий кот, увидя за стеклом сытую, но одинокую домашнюю кошку.

– Нелюди, – подумала домашняя кошка о хозяевах – Им всё игрушки. Пора бы уже и кота привести.

– Живодеры, – подумал бродячий кот, глядя на хозяев, выгуливающих собак.

– Вот, – гордо сказала жена, поставив мне на стол утренний кофе – Я еще даже животных не кормила.

Счастливее, чем овцы, не найти.

Они всегда на правильном пути...

Фотография

Два зеленых плацкартных железнодорожных вагона вместе с нами завезли в ноябре куда-то в глушь куцей беспородной тайги и оставили на рельсах. Я и сейчас не знаю, где мы были – в Забайкалье или в Якутии. Но мы были.

Мороз стоял адовый. Даже в ватных штанах поверх формы и в бушлатах работать получалось не более пятнадцати минут. Посменно. Родине нужен был наш бесплатный и бесполезный труд.

И мы долбили ломami мерзлую землю, отбивая при ударе только маленькие кусочки, отрезанные от целого, словно ломтики, глинозема. Похожие на нас.

Дело, понятно, не шло. Но никто нам и не мешал. Скорее всего, начальство просто пережидало, решая, куда отправить дальше. В одном вагоне все ребята были после Монголии. В соседнем – забайкальские.

Старший офицер приезжал откуда-то утром, торчал в вагончике и к вечеру убывал восвояси. Продукты и горячее привозили в бачках, а завтрак и ужин мы готовили сами. Свою ложку, главное личное имущество, каждый держал в голенище сапога.

Казенных ложек в этом мире всегда меньше, чем ртов.

Но никто извне к нам и не лез. Некому. Где-то гнила, рас-

пускаясь, своя жизнь. А нам здесь было все равно. Мы считали дни до далекого дембеля.

Какая разница, где отсчитывать время из одной клетки в другую, попросторней?

Все равно и в Монголии не было ни девчонок, ни домов, ни штатских, ни телевизора, ни радио. Там степь, работа и тоска за окном. Здесь тоска, работа и просторы с пролесками. Солдатчина...

По соседней действующей ветке проходили товарные поезда. Иногда они останавливались рядом. В них болтались цистерны с дешевым вином. Дежурный обязан был следить за этим. И порой ночью мы подсакивали от истощенного крика:

– Рота, подъем!

Молодые, в хрустящих от холода гимнастерках, схватив рукавицы, чтоб не приклеиться на морозе, забирались на цистерны, ломиком вскрывали их и черпали вонючую кровавую жидкость ведром. Потом еще одним. Третьего, свободного, не было. И тогда из грязного выбрасывались лопаты, инструмент, и в ход шли слегка ополоснутые тем же народным пойлом рабочие ведра. Надо было успеть, пока поезд неожиданно не тронется дальше.

Потом алюминиевыми кружками мы пили прямо из ведра азербайджанский «Агдам» или иную гадость под разговоры ни о чем. Чаше о том, что было и будет, когда мы вернемся.

Наутро те, кто из последнего призыва, помоложе, отмывали вагон, а приехавший офицер несильно орал, выгоняя нас на мороз, на работу, проветриться.

А что делать? Армия – это распорядок.

Однажды после такой ночи я не смог найти в кармане фотографию своей девушки, будущей жены. Выронил или вытащили. Она была снята крупным планом, а позади, с древком флага в руках, размыто маячил и я.

На последней перед отчислением из университета первомайской демонстрации к нам подошел какой-то активист, белесый и бесцветный, как лозунг, и грубо ткнул мне в руки знамя.

– Неси, таким положено.

В принципе, я тогда и сам бы взял. Но только вместе с наганом.

А фотография, самое ценное, что у меня оставалось, пропала. Мы с ребятами обыскали оба вагончика и ничего не нашли. Понятно, что исчезнуть здесь она не могла, некуда деваться.

И тогда «монголы» построили всех в проходе и приказали вывернуть карманы.

Фотография нашлась в... военном билете одного из «забайкальцев». Парню дали пару раз по морде в целях воспитания, чтоб не «крысятничал». Но я никак не мог понять, зачем ему красть и носить фотографию совсем чужой девуш-

ки. Что она ему?

– Чудак, – удивился размеренный Арно из Таллина, который шутил, что идет по следам своего деда, погибшего после войны в Сибири. – А еще в институте учился. Спроси у Гоци, он знает.

– Как тебе сказать? – начал Гоча из Грузии, посмеиваясь и приглашая поближе других ребят. – Нужна ему твоя девушка.

– Но зачем? Какой смысл?

– Простой, – пояснил Гоча. И парни вокруг хихикнули. – Неужели не понимаешь? Качать ему надо. На здоровье.

– А моя девушка здесь при чем?

– Глядя на фотку, приятней. Смотрит на нее и «качает». Тебя в институте этому не учили?

– Учили чему надо. И сейчас учат, – буркнул я, вспыхнув.

И тоже засмеялся. В конце концов, только у меня через год службы оставались письма издалека, начинавшиеся со слова «любимый».

Смех покотился по вагону, тыкаясь светом в черные, как беспросветная власть, окна. Но мы тогда думали, что так и надо.

Фотка пошла по рукам. Как девчонки, которые нас не дождались.

Гоча, по случаю праздника обретения, вытащил назначенную резиновую грелку с домашней чачей, а Орест, из глу-

бинки Карпат, сам вызвался организовать жареную картошку. Он уже немного говорил по-русски. Но в самом начале, еще в Монголии, ему доставалось из-за этого больше всех. Поначалу он стоял тогда, отмахиваясь, как загнанный бычок под тычками, со всех сторон и почти выл, низко и протяжно.

– Мос-ка-ли...

Но вокруг не понимали, о чем это он. Не слышали.

Те «деды» ушли на дембель, а для нас он был свой.

И нам было весело – от молодости, скуки, повышенного давления стреляющей до подбородка спермы и похмельной тошноты в глотках одновременно.

До дембеля оставался еще целый год.

Один человек мне сказал, что армия – это священный долг.

– Аминь, – ответил я и подумал: «Родиться, раздать долги и умереть. А жить когда?».

Альтруист

Все дети рождаются свободными и честными. А потом до старости учатся жить в разных тюрьмах и красть на свободе. Таких называют взрослыми. Степаныч был как ребенок. Он не сидел в тюрьме. А был, где был. И не крал. По крупному. Не хотел мелочиться.

Так и жил, как приспичило.

Труднее всего стать неудачником. Но для этого надо сначала научиться побеждать. Терпеливо и упорно. Многие даже не пытаются это сделать. Поэтому воюют друг с другом, начиная с собственного дома и безжалостно уничтожая себя. А заодно и тех, кто оказывается рядом. Сначала фронт без линии фронта. Война на истощение. Потом окопная. И наконец кто-то отвоевывает своё. И уже чужое, как своё. На то и пишутся законы.

Для тех, кто не хочет жить сам. Но хочет.

Кому повезло с мозгами, продолжают заниматься своей обычной, но нужной работой. Пекут, строят, пашут, ремонтируют, возят. Не без проблем, конечно. Но спокойно и буднично. Как есть. Как и их жизнь.

Степаныч был как раз таким. И еще он был альтруистом. По сегодняшней жизни это выглядит, как извращенец, пусть

и нетипичный. Типичные людям понятны, поскольку близки. Но, как правило, недостижимы. Решимости не хватает.

Альтруист – это человек, который ненавидит себя больше, чем людей.

Хотя разговор о них почему-то всегда идет про любовь. Так проще. Какая разница проходим о чем врать друг-другу. Лишь бы не молчать, разговаривая с собой и о себе. Это невыносимо.

Короче, альтруист не человек, а недоразумение. Как муж. Но типичный, после сорока.

Степаныч жил один. Когда-то он ухитрился построить бизнес, вполне преуспевающий. Это было для него, как игра. Смогу, не смогу. Получилось. Он на радостях женился. На незамысловатой, как ему казалось, женщине из очень небогатой семьи. Степаныч не только полюбил, но и думал, что она это оценит и, ко всему остальному, будет еще и благодарна. Ему хотелось признания. Так и было поначалу. Он помог ей выучиться, одел, как хотела, возил на курорты. Помогал с их ребенком.

Не учел только одного, важного. Успешный мужчина – несчастье в доме обеспеченной им женщины. Не сразу, но потом. И почти всегда. А если он еще и счастливый... Это уже ей совсем невыносимо.

Но и успешный бизнес – заноза для других, таких же, по интересам. Вскоре дело Степаныча тихо и аккуратно, без

выстрелов, задавили. Оно перешло в иные руки. Чистые, как костюм законника, измазавшего и ограбившего кого указали, гонораристо и щедро.

Зато по правилам. Тоже работа.

На свои последние деньги мужчина покупает автомат.

Если грабят. Пусть даже и по закону. Но тогда из одиночки собственной шкуры его могут перевести в общую камеру с ограничением передвижения в пространстве.

Степаныч так не хотел. Он же был альтруист. По отношению к себе тоже. И стал жить дальше. Жене это вконец не понравилось. Она, обеспечив себя, лишила его остатка остатков. И ушла. Его ушла, разумеется. Из дома.

Но он-то остался.

Степаныч стал работать обходчиком составов. Наверное, простукивал колеса, что то там проверял. Не знаю. Делал, что нужно и ему снова хватало. Умному достаточно. Хотя он себя таким не считал. Он вообще об этом не думал. Умный – не умный. Богатый – не богатый. Провел отпуск в деревне у речки с удочкой или на Мальдивах. Отдыхают же для себя. Себе в радость. Дело личное. Как и жизнь.

У него было простое и здоровое человеческое качество – он не сравнивал себя ни с кем и не прикидывал чужое к тому, что имел. Ему было легко жить. И с собой, и с людьми. Но, если кто-то не понравился «на нюх», интуитивно, по словам

или поступку, то Степаныч таких обходил. Молчал, думая о своем.

Или, если деваться было некуда, кивал головой и смотрел, не вникая. Отдыхал, выключив мозги для самозащиты. Словно в зале ожидания, в очереди, которую почему-то называют живой. Или на приеме у чиновника, взаимно.

Так он и жил, насыщенный.

Однажды Степаныч шел с работы и увидел близ станции бомжа, который сидел на скамейке и, покуривая, читал газету из мусорной тумбы. Многие бомжи самые внимательные читатели любой макулатуры. Они всеядные. И читают то, что другие слегка просматривают. А потом пересказывают друг другу и обсуждают. Это называется общением.

Степаныч и раньше их видел, не слепой. Слепые смотрят, но не видят. Как и другие. А он обратил внимание. И было у Степаныча хорошее настроение: день сложился спокойный, премию получил, с проводницей кокетливой познакомился. И еще, он вдруг вспомнил своё.

А бомж был моложе и видно, что аккуратный, по возможности. Чистый. Хотя и пропитый. А что еще человеку делать, если делать нечего. Гуляй, сиди, лежи и пей. Почти как многие богатые бездельники. Разве что без удобств и без машины. И готовую еду им приносят те, кто работает. Искать не надо. Но не велика разница.

Разве что, у простых людей всегда есть стимул заработать.

А у богатых – работать надо собой.

– Есть хочешь? – спросил Степаныч. Он же был альтруистом, а не каким-нибудь работником пера и топора. В смысле, закона.

– Хочу, – просто ответил бомж. Но человек. Хотя и без места жительства. Степаныч тоже почувствовал себя человеком. А это не каждому дано. В мирное время. Он смог. И даже спросил

– Как вас зовут? – Виктор, – ответил человек.

– Победитель? – Они оба усмехнулись и пошли к Степанычу домой.

Там быстро накрыли стол, открыли бутылку и гость рассказал, как он дошел до жизни такой. Он не жаловался какие плохие были родители, власть и выпавшее ему время, как это обычно делают неудачники. Из поколения в поколение. Раздувая сочувствие других и свою злобу. Степаныч таких историй наслушался досыта. Под копирку.

Как Письма счастья.

Виктор был во всем обычным. Что-то похожее с ним. Обычное детство. Но родители разошлись. Обычное студенчество. Чтобы не забрали в армию и получить диплом профессии, которой он не собирался заниматься. Тогда еще их не покупали. Обычная работа, но на ней мало платили. Обычный брак, чтоб не зависеть одному и было с кем поговорить. Но жене это быстро надоело. И они стали мешать

друг-другу.

Виктор, как учили хитрые женщины, по-мужски, взял чемодан и ушел сам. Оставив квартиру ей и ребенку. Но и новая, хотя и старая, его не приняла надолго. Одно дело «визитинг профессор», а другое постоянно в ее доме. С претензиями, подсчетами денег и вечно поднятой крышкой унитаза.

Только женщины знают сколько мусора остается от мужчины к утру.

Жизнь состоит из пришел – ушел. И что от этого осталось. У него оставалось все меньше. По большому счету. Сначала пришлось мешать одним друзьям, которые его приютили. Но не навечно. Потом другим. Третий уже не оказалось. Работать ему тоже надоело. За копейки, неблагодарно. И он долго нигде не задерживался, пока наконец не стал свободным от всех. С такими же, как и он. Паспорт потерял или украли новые друзья. Понесло – закружило. Жизнь и занесла его далеко от дома.

– Вот, если бы были деньги на дорогу, вернулся б в родной город и начал снова нормальную жизнь, – грустно завершил Виктор. И почти заплакал. От обиды на свою жизнь.

– Чтобы быть добрым к людям, надо их не встречать.

Но Степаныч не согласился.

– Так нельзя. Мы же встретились. А ничего не бывает случайно. Ему было приятно, что кто-то его слушает и он может дать совет. И даже что-то сделать. Не только для себя, как

живут пресмыкающиеся. А по-божески.

– Давай я завтра поговорю на станции, – успокоил он – Найдем тебе какую-то работу и без паспорта: грузить, носить, убирать. Не люди мы, что ли? Не в Австралию же возвращаться. Поживешь пока у меня, поесть я тоже куплю. Накопишь быстро. Да и я дам немного. Потом, когда встанешь на ноги, пришлешь. Ноги-то человеку даны, чтобы бегать, идти и стоять.

– И бежать, забыл что ли? – подумал он. Но проглотил, вместе с пельменями. Чтоб не травиться.

А гость пил, рассказывал и каялся. Каялся и пил. И это было так по-человечески.

– Не переживай. Прорвемся, – сказал Степаныч – Ничего страшного нет. Жизнь, не более.

Самые несчастные – это те, у кого всегда все хорошо. И даже отлично. Раньше таких держали в психушках. Подальше от людей. А у тебя, как у нормального человека, трудности. Так сложилось. У каждого по-своему.

Степаныч же был альтруистом. Хотя и не знал об этом. Но он и не подумал, альтруист, что людям вокруг прежде всего нужны деньги. Потому что они всем нужны. И ему тоже. Худеют – и то за деньги. Трудясь. Лишь бы не работать.

Никто не хочет ходить на работу.

И на следующий день, когда Степаныч, радостный с сум-

кой продуктов вернулся со смены, оббежав вменяемых начальников и договорившись, тайно от пресыщенных законников и прочих скрупулезных обмылков, взять своего гостя что-то там делать, увидел, что того уже нет. А вместе с ним и отложенные в шкафу под сменой постельного белья сбережения, бывшее его обручальное золотое кольцо, одежда и все, что более-менее стоило денег в его доме.

– О как, – присел Степаныч – Не дождался. Решил ехать домой сразу. Я бы так не смог. Думал бы, обдумывал, а потом и отложил. Слишком мол накладно и хлопотно. Как обычно. Когда думаешь, ничего не получается. Он не такой, этот Виктор. Решительный. В конце-концов, я ему помог и так. Продаст, купит билет, что-то оставит на новое обустройство. Вспомнит, как мы сидели за этим столом, разливая и согреваясь. По-человечески. Единые, как столешница. И все у него будет хорошо, Бог даст.

– Оставь Бога в покое, – вздохнул я, дослушав Степаныча – Он уже сотворил все, что хотел. Но ему некому каяться...

Бумажный солдатик

Я за рулем уже много лет и попал только в одно дорожное происшествие. Да и то по своей вине. В Америке.

Когда «прижимало» и накапливалось одиночество, а сходить, даже на время, я ни с кем не хотел, то садился ночью в машину и выскакивал на хайвей. Затем одевал наушник от плеера, где стояли по очереди две кассеты, вывезенные в рюкзаке: песни Булата Окуджавы и Юрия Антонова. И шел по трассе на максимальной скорости минут сорок в никуда, затем разворачивался и обратно. Помогало.

Однажды в сильный ливень, полночь, я так же возвращался через окраину Нью-Йорка домой, высчитывая, сколько часов мне оставалось до подъема на работу. И в голос подпевал Окуджаве: «Был тот солдат бумажный. Бум...».

На темной, мокрой, как девочка-подросток, улице в последний момент вдруг увидел, что начинаю въезжать в стоящую на светофоре машину. Тормоза не помогли. По скользкой дороге я так и впарил ее в задний бампер. Машина рванула и «въехала» в еще одну, у перекрестка. Ее капот подскочил и вздыбился полукругом.

Первая машина от толчка сорвалась с места и, не останавливаясь, удрала. Подальше от нас и от разборок.

Из второй выскочила испуганная девушка, у которой, как оказалось, не было документов. Забыла.

А у меня, в свою очередь, тоже не было автомобильных прав, потому что мои забрали при выезде. Вместе с дипломом университета. Чтоб было не как у людей. И потому труднее. И правильно сделали. Ко всему прочему, вначале, мне это много стоило. А здесь с первого раза сдать на права не получилось. Плати да плати. Так и ездил по Америке несколько месяцев без прав. А что делать?

Жить захочешь – плюнешь на все права.

К счастью для нас обоих, вокруг не было ни полицейских, ни даже прохожих. И мы зачем-то обменялись личными телефонами.

Но она так и не позвонила. Вот дура...

Рождество в Вифлееме

И зачем был нужен этот всемирный еврейский заговор с Христом?

Оператор с тяжелой камерой на плече и я со штативом растерянно стояли посреди безлюдной ночной улицы Вифлеема. Через четыре часа, уже под утро, в Иерусалиме был заказан спутниковый канал на Москву.

А нашей машины на месте не было. Так в жизни часто случается: чужого вокруг много, а своего – нет. Но как только появляется – нередко становится чужим. Кому-то на счастье.

Вифлеем Палестинской автономии праздновал Рождество Христово. Храм, освещенный перекрестным огнем сине-красных прожекторов, казался нереальным на фоне звездного сказочного неба. Накануне мы бросили машину с единственными в округе израильскими номерами вниз, перед подъемом к площади, где уже собрались сотни людей, в основном христиане-палестинцы и отмороженного вида западные паломники.

– Пусть тачка стоит на людях, – я показал тогда на стоявших повсюду полицейских с «калашниковыми» на руках, словно с младенцами. – Все лучше, чем прятать во дворах.

И мы пошли в народ.

Народу было мало. Шататься ночью по промерзшему и темному Вифлеему, надеясь на Господа, особо желающих не было. Это они в прикиде блаженные, а так не дураки.

Когда-то Вифлеем считался в основном христианским городом, но из-за постоянных военных столкновений католики и православные палестинцы в массе своей съехали. Кто в Европу, но большинство в Латинскую Америку, где можно было зацепиться. Только в чилийском Сантьяго их община насчитывает почти 25 тысяч человек.

А что делать, если в этой жизни на родине нет ни нормального бизнеса, ни покоя, ни безопасности? Разве что искать другие палестины.

Репортерам-телевизионщикам запрещали снимать непосредственно в гроте, где родился Христос. Именно над ним построили потом Храм, разделенный на две части: католическую и православную. С площади вовнутрь, в православную половину, и дальше в грот ведет главный вход, узкий и низкий, словно прорубленный в камнях. Невозможно зайти, не наклонив голову или не согнувшись.

Как в жизни. Иначе не возвысишься.

Палестинские полицейские, оцепив проем, перед штатскими стояли насмерть. Обеспечивали безопасность. В католической части к полуночи собралась вся дипломатическая шелупонь, приехавшая отметить и засвидетельствовать. Пропускали и некоторых паломников, но не журнали-

стов.

А кому нужны свидетели?

– Придется только на площади работать, раньше двух ночи в храм не пробьется, – было обидно, что бюрократы опять путаются под ногами, прикрывшись, как обычно, вояками и ментами. И проплачивая их службу нашими же деньгами. Так устроен этот мир.

– Приедем еще раз днем и снимем, какие дела? – фило-софски среагировал оператор. В своем оптимизме он был красив до безобразия.– Опять же, православное Рождество еще будет.

– Добавь еще третье, армянское...

– Вы что, русские? – вдруг как из-под земли радостно подошел к нам палестинский офицер.

Оказалось, что он учился где-то на Урале, на юридическом. И сегодня отвечает за безопасность туристов на площади перед Храмом рождения Христова.

– Так давайте заведу...

Так мы оказались в Храме. Высокий купол, заупокойный запах ладана, заставленная свечами икона Божьей Матери, представительные монахи-эллины. Они шли мимо, прямо в руки, поскольку места там немного, не разойтись.

И сладкий воздух праздника, густо приправленный благовониями, уже дурманил голову красивыми песнопениями, нисходящими сверху прямо в бездну притихших и потому

умиротворенных до утра человеческих душ.

Ищущий – да обрящет.

– У меня еще никогда не брали интервью русские журналисты, – польщенно промолвил патриарх греческой православной церкви, по-мужски, щелчком, стряхнув над коленом расшитое золотом одеяние.

– Было бы здорово показать рядом с вами тот святой грот, где родился Спаситель, – проникновенно сказал я. И почувствовал себя фарисеем. – Но туда не пускают.

– Ну если не мешать паломникам...

Это была первая «русская» репортерская съемка в одном из самых святых для христиан месте. Прямо у вифлеемской звезды на месте купели, в гроте, густо обклеенном паломниками, медитирующими о духовной любви и плотском искуплении.

Но за стенами Храма все оставалось по-человечески, грешным.

Когда за полночь мы спустились по узкой улочке от площади вниз, то машины на месте не оказалось. И людей вокруг тоже. Тишина.

Почти темный город вокруг навеивал зябкую тоску реальности и суровой правды вполне земной, совсем не благословенной, жизни.

– Спокойно, все-таки рождественская ночь. Значит так,

первая стадия – растерянность. Значит, присядем, – я прикурив от своего окурка, огляделся по сторонам и, бессильно посмотрев в лицо оператора, высказал в него все, что думаю о его матери и о ее местных сукиных детях. Это помогло, но не надолго.

Вдалеке замаячили двое военных с «калашами». У ребят были красные береты с вытянутыми орлиными крыльями на околышках – палестинский спецназ.

Парни растерянно смотрели по сторонам: мол, вляпались, но поняли, что машину украли и надо бы что-то делать. Но не знали – что. И благоразумно попытались скрыться. Куда там...

Ошалев, я заходил перед ними, оскорбленный за весь христианский мир. В трехстах метрах от Храма рождения Христа, в рождественскую ночь слямзить машину? Нехристи.

Военные на всякий случай вызвали полицейских, и вскоре из-за угла вынырнул закрытый джип, куда нас жестами попросили сесть. Машина взвыла от возмущения и пошла петлять по немислимым вифлеемским закоулкам, все дальше и дальше от Храма, куда-то в сторону от главной дороги, в гору.

Город заканчивался, и от близлежащих холмов уже веяло совсем не библейским спокойствием и сыростью. Ладан из головы выветрился моментально.

Наконец, мы нырнули между окраинных домов и въехали через узкий проезд на какую-то земляную площадку, по-

хожую на небольшое полевое стрельбище. Навстречу вышел тучный заспанный сторож, и полицейские энергично что-то стали ему объяснять, жестикулируя, как итальянцы в кино или израильтяне на улице, и показывая на меня, в натуре.

– Выходи, – махнул сторож и посветил фонариком. На влажной земле я увидел, что мы находимся на какой-то полевой парковке, полной машин. Но у них у всех были палестинские номера.

Чуть дальше, в ночи, с двух сторон от одноэтажных халуп, образующих ограду, тянулись земляные холмы. Сторож повел меня к ним – в темноту. Полицейские потянулись сзади.

– Зря связался, – просветленно подумалось тогда, но, как всегда, запоздало. – Да черт с ней, с машиной. Домой бы...

Мы уже входили в земляную горловину, за которой неожиданно оказалась еще одна небольшая площадка, укрытая со всех сторон холмами и прикрытая звездным, но почему-то нерадостным небом. В два ряда, прижавшись друг к другу, там стояли с полтора десятка машин с... желтыми израильскими номерами.

В палестинском Вифлееме? На окраинном, да еще двойном отстойнике? Понятно, что краденые.

Но одна из них была – моей.

Кому-то сегодня не посчастливилось.

– Есть Бог на свете. Я как-то сразу и искренне поверил. Полицейские облегченно порадовались рядом. Затем

неожиданно, буквально вытолкнув оператора из своего джипа, развернулись и уехали.

– Та еще работка... – наивно подумал я с благодарностью. Однако это была еще не вся рождественская ночь.

Мне только потом стало понятно, почему они так быстро смотались. Обычно палестинцы очень вежливы с журналистами и в подобной ситуации, как правило, сопроводили бы из города для своего собственного спокойствия. Сплавил журналистов – и дыши благодатью.

Машина завелась с полуоборота, радостно урча, как соскучившаяся по знакомым рукам женщина. Но на выезде узкие ворота «парковки» были перекрыты.

– Сто долларов, – спокойно сказал сторож, блеснув крестиком из-под рубашки. – Иначе не выпущу.

– Хорошо. Но дай квитанцию, Иуда, – смесь иврита и русского в рождественскую ночь звучала почти молитвой.

Сторож уперся, ему нужны были живые деньги. И он хотел себе праздника. Даром, что ли, христианин? Или езжайте в полицию, привезите оттуда бумагу с разрешением на выезд. А вдруг это не ваша машина? В документах он бесплатно не разбирался.

Сто долларов наличными оказывались лучшим пропуском в рай. «Причем безвозвратно», – подумал я и полез в карман. Он мог бы выписать и фитюльку для отчета: кто там, в бухгалтерии, будет смотреть? Но полиции тоже надо жить, чтобы охранять чужое. И не упустить свое. А празд-

ники, соглашусь, бывают не каждый божий день.

И мы тоже хотели быть живыми. Где она сейчас, их полиция, на окраине Вифлеема почти в три часа ночи?

Я заплатил из личного кармана, скрипя, но ликуя, что все на месте. И можно ехать в объятиях своей машины.

И чувствовать себя, как у Христа за пазухой.

А в утреннем первом выпуске новостей канала выйдет праздничный сюжет о Рождестве в святом для всех христиан Вифлееме. Да еще впервые – с живой картинкой того самого грота, купели и вифлеемской звезды.

И кто-то в Израиле скажет:

– Опять палестинцев показывал, словно людей.

И кто-то в России скажет:

– Опять выпендривался у нашей святыни. Нельзя, что ли, православного корреспондента там поставить?

И оператор с красноречивой фамилией Броутман, но с прочерком в графе «национальность» израильского удостоверения личности, потому что у него папа еврей, а не мама, вытащит из загашника фляжку:

– Ну что, по рюмочке, по-русски? За Рождество?

А дома скажут:

– Иди спать. Уже утро давно, гулена.

Статист

В то утро Миша проснулся не от тишины, как обычно. Хотя ему давно уже стало все равно. Есть будильник у кровати или нет его. На работу идти было незачем. Да и некуда. Это русский человек всегда знает куда ему пойти и по какому направлению отправить другого. Миша был евреем. Правда, тоже русским.

Но это уже надо пережить.

Он и пережил. Империю, любовь и даже двух жен. Что почти невероятно в этом мире. И всегода исполнял свой долг: и дома, и на работе. На чем, с возрастом, и погорел. Если ты не чиновник и не военный, нельзя просто так безнаказанно всю жизнь ходить на работу. И зарабатывать на жизнь. Что дают. Работа когда-нибудь заканчивается, а жизнь продолжается. А Вместе с ней и потребности.

Неудовлетворенные, как сосульки.

Вожди менялись, будто девки у развилок дорог. Начальство, как всегда, потеряв лицо, держало фасон и фигуру, наливаясь наглостью и обожанием нижестоящих. Подрастали, волнами, молодые, кипящие тестостероном и амибициями. Затравленно оглядываясь, в затылок начинали дышать те, кто засиделся. К возрасту их начнут просто сбрасывать с поезда, даже не дожидаясь и не затыкая рот убогой, как власть,

пенсией или пособием. Награждая пустым добрым словом по телевизору и полным молчаливым презрением в кабинетах. Ходят, чего-то хотят, жить другим не дают.

Короче, Миша, что зарабатывал, то и проел. На древней земле с молодой страной-оторвой от бывшей державы и потому ищущей к кому прислониться, в свои почти 60 лет ему уже ничего не светило. И даже солнце все чаще скорее слезило глаза, чем радовало разноцветием тонуса.

В смутные времена жена с детьми уехала на историческую Родину, где героически полегла в борьбе за это. Он же остался дома и работал, пока не пришло сокращение. А за ним сначала удивление, но потом и возмущение, что ничего нового, даже близко к профессии, найти не просто трудно, но уже невозможно. Везде всё и все есть. А где нет, нужны помоложе и пошустрее. Начались случайные подработки и связи. Все более короткие, по мере прибавления лет, роста цен и истощения ежемесячных доходов. От прежних накоплений, поделенных с бывшими женщинами, осталось одно короткое емкое слово. Русское.

Увлажняющее хмельными ночами в молодости, но вконец истощающее к вечеру многолетия.

Все это можно было и пережить, если бы он был не один. И Миша старался найти близкого человека. О любимом уже речи не было. Любить – это беззаветность. И запах счастья

отдавать. А жизнь учила считать и душиться парфюмом целесообразности. Не удивительно, что женщины рядом тоже так думали. И уходили. У него осталось только желание разделить с кем-нибудь одиночество проживания и стремления жить дальше. Пусть и на постном масле.

Дольше всех с ним прожила энергичная, не по возрасту, относительная молодуха. С трудной и неудачливой личной жизнью. Ей тоже нечего было терять, кроме памяти о бывшей службе в какой-то школе, преподавая там много лет то ли географию, то ли литературу, то ли историю. Это вдруг оказалось нигде и никому не нужным. Как и она сама. Новую историю и литературу пришли преподавать другие. С ново-спущенной сверху очередной правдой.

И потому подруга его уже мечтала о другой жизни в другой европейской стране. Тем более, молодежь рванула туда-сюда в открытые наконец границы и возможности. Но у молодежи есть самое лучшее образование – годы впереди. И блестящее резюме для работы – молодость. А зрелые люди нередко считают, что главное для будущего – это то, что у них позади. Только кому захочется туда заглядывать? То ли дело радоваться тому, что болтается или маячит впереди. Как спереди.

Миша, насколько мог, прикрывал расходы на жизнь, пока подруга искала варианты, договаривалась и переезжала

в мир иной, за рубежи. Убеждая, что, как только устроится и немного оглядится вокруг, то найдет место и ему. Через год жизни «там», она вернулась. Но дома делать было нечего. И не с кем. Не считая Мишу. Она его и не считала.

Кому-то деньги дают жить, если они есть или приходят. А кому-то не дают. Если их нет. Грабить банки они боялись. Должности, чтобы красть, даже по – человечески, были заняты. Чиновничество и уличный рекет оказались недостижимы. Оставалось немного.

И вскоре она снова засобиралась в ту же страну, где убирала и ухаживала за стариками на дому. А Миша с удивлением рассматривал турецкий словарь и учебник, которые она привезла с собой и нередко заглядывала. Закатив глаза и расхваливая почему-то люля-кебабы и шермет.

Наконец, отдышавшись и поцеловав его на прощание, она снова уехала. Но вместо приглашения сообщила, что сошлась с замечательным турецким мужчиной, хотя и немцем, и они теперь попробуют вместе построить там свою очередную жизнь. В чем-то очень похожую на их прежние. Но надо верить в лучшее, ведь правда?

Миша долго переживал и наконец почувствовал себя, по-настоящему, одиноким и немолодым. Это когда ты ничего не можешь дать, а значит никому не нужен. Отдавать – это тоже наука жизни, как и, с другой стороны, самодостаточность. Он об этом и не думал. Он просто работал всю жизнь,

где взяли и держали, пока им было нужно.

Миша и сейчас работал: то на выборах, то на подхвате, то статистом в кино.

В кино с ним это и случилось. Однажды его пригласили сниматься в новом фильме известного режиссера. В массовке. Картина была о трагедии евреев его родного города, которых начали убивать еще до прихода нацистов в годы той еще войны. Лишили работы, бизнесов, права ходить по улицам. Нацепили шестиконечные звезды. А потом выгнали из домов и, в чем есть, согнали в гетто. И тоже убивали. Почти всех.

В первый день съемок была сцена, как этих людей гнали вдоль затихших ничего не видящих домов на смерть. Не видел – значит не знаю. Не знаю – значит ни при чем. Бывают времена всеобщей слепоты. Куриной. Зато живой.

Евреев привели в район, где они должны были жить и откуда их забирали умирать в пригородных рвах. Но дома остались. И их новые хозяева тоже. Здесь и вели съемки. Мише дали шикарное драповое пальто по фасону тех времен с желтой шестиконечной звездой. Настоящее, большое, теплое. Как мама. Вокруг были люди и какие-то разговоры ни о чем. О жизни. Мише это нравилось, потому что появлялись новый знакомые и можно было с кем-то поговорить. О ценах и «звездах». Можно поспорить о чем-то далеком, где не был, но слышал. Это и называется общением.

К сожалению, режиссер довольно быстро скомандовал идти. Прямо. Неизвестно куда. Режиссер явно был не русский. Русский всегда знает куда послать и идти самому. И Миша пошел со всеми. Массовка была немалая. Но с обедом и какими-то деньгами в конце дня. Всё лучше, чем сидеть дома, свободным.

Еще уходя из дома, он открыл почтовый ящик и получил платежку с выплатами за свет, газ и квартиру. Получилось почти все, что давалось от государства на жизнь. Чтоб хотя бы рот был занят. И было, что терять.

– Не толпитесь, – командовал режиссер откуда-то сбоку и сверху. Смотрите под ноги и вперед. Но не по сторонам. Проникнитесь. Вам тревожно и горько....

Миша шел со всеми и смотрел только вперед, и без команды. Но ничего не видел. Ему было и тревожно, и горько. Если выплатить все, что прислали, то едва хватит на еду. Хотя – подумал он – С голода не умрешь. Все-таки, не те времена.

– Стоп, присядьте, – мегафонил режиссер – Кто у стены, кто рядом. Смотрите вдаль или перед собой. Вы не знаете, что с вами случится завтра или даже сегодня. Вам только-только сказали, что теперь будете жить в гетто. Неизвестно как и на что. Но жить. Камера!

– Дожил, – интеллигентно думал Миша – А еще хлопо-

ты с документами. С квартирой в доме, на который объявился хозяин в древних времен. Сколько же у меня останется теперь в день на расходы? Мама моя! И никого близкого... И никто не обнимет... Как же не хочется возвращаться в комнату, где пусто. А по телевизору рекламы новых домов и вкусной, но дорогой еды. Со скидками. Общество потребления грязи. И вечный праздник секса и ментов. Друзья все разъехались кто куда. Старички в синагоге со своим Богом, внуками и болячками. А, если только болячки и остались? Им хоть есть, к кому обращаться. С верой. Сначала долго-долго учишься выживать в этом мире. Затем жить. Зато вечно... Как я все это выплачу вовремя. Господи, чтоб вы сошли в своих кабинетах. И нет на вас ни Сталина, ни Бога. Даже надежды нет. Не во что верить. У верующих евреев – есть в кого. Русские тоже себе всегда, во все времена, новую икону нарисуют. Встать на колени, чтобы подняться с колен. А таким, как я...

Он шел и думал. Думал и шел. Только бы не домой.

Наутро, едва за девять, Мишу разбудил резкий и настойчивый звонок. Номер был незнакомый.

– Или неприятности, от какой-нибудь государственной службы. Или, может быть, где-то работу предложат, – подумал он и с опаской взял трубку.

– Я звоню вам от режисера фильма, – бодро рапортовала девушка по ту сторону жизни – Он просто в восторге. Да-

же не то слово. Он восхищен вами. Вашим талантом и чувственностью. Так и просил передать. Съёмки массовой будут еще, но мы заплатим вам больше.

– Что случилось? – растерялся Миша.

– Как что? Когда режиссер стал просматривать сцену евреев, которых пригнали в гетто, то – у нас это называется «панорама» – камера шла по лицам. От одного к другому. И дальше. Медленно. Но ваше лицо... В нем было столько скорби, столько отчаяния и эмоций. Тоска и трагедия всего вашего народа. Режиссер остановился на вас, замер и оставил на тридцать или сорок секунд. Это очень много для одного крупного плана. Только большим актерам удается выразить столько трагедии и эмоций в молчании. Так прочувствовать время, и ужас, и гетто. Режиссер просил выразить вам благодарность и восхищение. Он сказал, что только евреи способны чувствовать преемственность эпох и пережитое их народом сегодня, как когда-то, много лет или веков назад. Это ваш великий национальный дар.

– Оно конечно, – польщенно сказал Миша. И подумал, – А сколько они накинут за это? За сорок секунд? Но спросить постеснялся. Когда разговор о смешной сумме, то даже деньги не главное.

Горько

– Ты меня не узнаешь? Совсем не узнаешь?

Отец жениха наклонился всем телом, почти нависнув над молодыми, к отцу невесты. Он говорил почему-то на украинском, но не это, а что-то иное, опасное, пузырилось за стеклом потного бокала в его руке.

И напряженная тишина поползла вдоль длинного заставленного гостями стола, а у его изголовья, с подсвечниками шампанского, застыли жених, весь в черном, и невеста – в белом кружевном.

Свадьбу справляли в столовой шахты, где работал молодой и его отец. Оба проходчики. Это те, кто в глубине рубят породу и закрепляет подходы к пластам угля.

Здесь, в заполярной Воркуте, они были старожилками. Я знал их как коренных, но не расспрашивал. В этом городе, построенном из бараков сталинских лагерей, было не принято интересоваться родословной. Собственно, жених и пригласил меня на свою свадьбу. А его невеста, приехавшая сюда после института, работала с ним же, но не под землей, а в управлении. И ее родные, откуда-то с «материка», а именно так называли в Воркуте всю остальную территорию страны, прилетели буквально к свадьбе, день в день.

И все было как обычно. И роспись, и поздравления, и жи-

вые цветы, купленные у азербайджанцев на рынке. И когда гости настроились было выпить и поесть по поводу молодоженов, традиционное для разминки слово дали родителям жениха и невесты.

– Ты меня не узнаешь? Совсем не узнаешь? Тесть в упор, словно в прицел, разглядывал растерявшегося свекра. – А ведь это ты, сержант НКВД, брал меня в схроне, в пятьдесят втором под Драгобычем, на Украине. Ты вязал мне руки, бил автоматом и шипел ' бандеровская сволочь, не дойдешь до села...'. Но я дошел, и получил свои лагеря, и остался здесь в ссылке, потому как не к кому и незачем было возвращаться домой. И я так долго мечтал, что где-нибудь тебя встречу...

Он выдохнул и вдруг обмяк. И родители невесты, оба нарядные, сидели молча, словно замороженные и глядели прямо перед собой на гостей, как в полярную ночь, и ничего не видели.

И все молчали вместе с ними. И только какая-то активистка, из приезжих, нетронутая умом, хотя и потертая личной жизнью, моргала плешивыми своими глазами и крутила головой – мол что это такое происходит?

– Тату, – как на молитве, шепотом перешел на украинский его сын – Отец, я знаю, но...

И положил руку под столом на колено своей молодой жены. И она там накрыла ее своей.

– Ну ладно, – сказал тесть – Главное, что наши дети нашли друг друга, и они счастливы, и выросли другими, и не пережили войну, ненависть и взаимную злобу. И эта горечь умрет с нами.

– Горько, – облегченно закричали гости. Время зашевелилось и зацокалось, согреваясь.

И только полярная ночь за окнами дышала, выплевывая бездонную тишину, и подвывая о своем, безымянном, с запахом вечной мерзлоты и окоченелых солярных костров, еще более коротких, чем жизнь, тлеющая на одном честном слове.

Немом, как лунные искры на вселенском снегу.

Как стать императором

– А почему вы не хотите сфотографироваться в одежде императора? Все хотят, – утверждающе спросил меня фотограф-китаец, который с двумя своими коллегами потоком «шлепал» снимки у Запретного города, что за площадью Тяньаньмынь в Пекине.

Спросил и прищурился.

В их гардеробе можно было увековечиться в трех видах: в желтом императорском облачении с шапкой, в виде генерала средних веков с мечом или солдата-маоиста времен перманентной борьбы с врагами.

Я с тоской посмотрел на провинциальных китайцев из глубинки, человек пятнадцать которых толпились в императорских одеждах, ожидая своей очереди на фотосессию. И еще на одного, забитого, с генеральским якобы мечом во весь его рост.

Все задрипанные сельские коммунары, слегка испуганные невиданным потертым гламуром и ценами, единогласно хотели хоть на минутку увековечиться именно в императорской хламиде. Я почему-то вспомнил рекламу химчистки под названием «Престиж» и обычные частные такси с помпезной, по цене, надписью «VIP». Короче, весь этот джентльменский набор для наполнения недостатка личности полноценным, но недорогим самореспектом.

И решительно взял солдатскую форму.

– Снимок хороший, – сказала уже дома жена. – Но неужели там не было генеральской формы? Мне кажется, тебе бы это лучше подошло.

И я почувствовал себя императором.

Дзенькую бардзо

Жизнь не такая длинная, как кажется вначале, по недоразумению от рождения. Но и не столь короткая, как оказывается потом.

Я никогда не думал, что именно белорусский язык может стать для меня шансом выживания в Америке. Представить себе не мог. Даже в кошмарных снах первых месяцев свободы. Свободы подохнуть или прорваться.

Один человек мне сказал, что языки надо знать.

– Надо – ответил я и подумал, что сначала учишься говорить, а потом всю жизнь – молчать. Но к заработку это не относится.

В декабре в Нью-Йорке промозгло, как в овощехранилище. Но все равно каждому найдется и место, чтобы спрятаться или высунуться, и морковка, чтобы съесть или приманить. Высокая влажность здесь даже несильный мороз превращает в холод, тягучий, как чувство голода, и переползающий изнутри – вовнутрь. Словно безысходность. Особенно, если у тебя легкая осенняя куртка, полушерстяной свитерок, а также текущие нос, ботинки и счета.

Я уже полтора месяца был в этом городе. И немного его знал: недостаточно для туриста, но приемлемо – для эмигранта. Мне не были чужим и южный Бронкс, похожий на по-

луразрушенный город, где даже днем опасно ходить по улицам, а «белые», залетевшие сюда по незнанию, сразу же панически проскакивали его на машинах, закрыв двери на все замки. И улыбочивые ребята из Шри Ланки, бывшие боевики из «Тигров Тамила Элама», с которыми мы вместе мыли посуду в небольшом итальянском ресторанчике в Квинсе. И еврейская забегаловка на несколько столиков в самом центре Манхеттена, где я подработал «басбоем» или, короче, уборщиком.

И даже магазин подержанной мебели в «черном» районе Бруклина, где жили в основном афроамериканцы. После работы, пятнадцать минут возвращаясь к метро, я уже не обращал внимания ни на холод, ни на темень, а просто стремился раствориться на полупустых промерзших улицах, сквозя мимо наркоманов и групп черных бездельников-переростков, в третьем поколении сидящих на государственном пособии и не знающих где и как себя занять. Это была их страна и мой выбор.

Я скользил мимо них, не оглядываясь и не поднимая глаз, с одной только мыслью – скорее в вагон подземки. До Брайтона. Который Бич. Что с английского на слух можно перевести и как «пляж», и как «сука», и еще, на уже русском сленге, как «бомж».

Я и был почти бомж.

Комнатка брайтоновского кирпичного курятника с маленьким окном, кроватью, зеркалом и табуреткой напомина-

ла камеру или кладовку. Метров пять в длину и почти три – в ширину. Вдвоем – не разойтись. Но больше за полторы сотни долларов в месяц там ничего и не помещалось, хотя и помещать было нечего. Да и не на что.

В Америке мне сразу крупно повезло – и на жилье, и на людей. Но больше всего с еврейской организацией «Наяна», которая сделала меня по-настоящему свободным на все четыре стороны американской мечты. Без нее, «Наяны», я бы может и не понял, что храмы строят для мазохизма по-прошаек, офисы – для обеспечения занятости мудаков, дома – для пожизненного рабства выплат, а свою жизнь – все-му этому вопреки.

«Наяна» сосала деньги из богатых американских евреев. Контора эта снимала несколько этажей в высотке центра Манхеттена и декларировала своей задачей первоначальную разнообразную помощь легальным собратьям-эмигрантам. Только в Америке на бедных умеют делать большие деньги. Законы США позволяют такую помощь списывать с налогов, поэтому средств у лавочки было немерено. Главная задача таких организаций – собрать деньги на якобы святое дело, а уж как их распилить, учить никого не надо.

Еще по дороге в их офис, за пару кварталов, в свой первый нью-йоркский день, я увидел забегаловку, на витрине которой было написано заветное «help wanted», «требуется» и нарвался на земляков. Мне явно везло в мелочах.

– Ты русский? – сразу спросила хозяйка – И мы из России. Только сначала по дурацки попали в Израиль и еле – еле перебрались сюда. Три доллара в час, убирать столы и помещение устроит?

Я был счастлив.

– Так вы хотите только работу? – уточнил в конце того же дня европейского вида религиозный еврей в кипе, уже в «Наяне».

– Только. Я просто никого в этой стране не знаю и как искать работу – тоже. И готов на любую – где возьмут. Понимаю, что сначала, после пересылки в Италии, меня направили в Филадельфию. И, спустя месяц, из другого города самостоятельно в Нью-Йорк обычно не перебираются. Поэтому пособия от общины и льготы, считай, потеряны. Но жить-то надо. А жить – значит работать...

– Позвоните через несколько дней. Приедет моя начальница. Она сейчас на Багамах. Сам я ничего решить не могу, – сказал чиновник.

– Так и решать ничего не надо. Подскажите просто, где нужны подсобные рабочие или грузчики.

Он пожал плечами.

– Без ее согласия не имею права. Я тоже держусь за свою работу.

Через пару дней, улучшив момент, когда в забегаловке не было клиентов и душевно, (чтоб, сука, ты до копчика понял, что такое свобода и сколько стоят три доллара в час),

протерев снежные подтеки за очередным посетителем, я получил разрешение хозяйки позвонить по телефону.

– Можете не приходите – сказала сразу невидимая начальница из «Наяны» – Вас уже направили в Филадельфию, значит, вы и должны жить в Филадельфии. И мы ничем помочь не можем. Вот если бы вы сразу приехали в Нью – Йорк, тогда другое дело.

– Так я ведь ничего и не прошу. Только направление на любую работу. Я просто действительно не знаю где и как ее, эту работу, искать.

– Возвращайтесь в Филадельфию, – сказала моя еврейская, но сытая, сестра.

– Да мне некуда и не к кому возвращаться. Ни там, ни здесь – никого, вы что, не понимаете? Я месяц – как из Советского Союза. Легализовался со статусом беженца, социальный номер свой получил, третий день в Нью-Йорке. И не прошу у вас ничего. Только направление. Я не привык и не хочу спать на улице или под мостом.

И вот тут меня в одночасье сделали по – настоящему свободным.

– Встречаться лично нам нечего – сказала «Наяна». Не хотите возвращаться в Филадельфию, ваше дело. А, если не нравится, то забирайте свои вещи – и убирайтесь обратно в Россию.

– Ты уже десять минут на телефоне, – засвербила откуда-то сбоку хозяйка – Еще немного и я вычту разговор

из зарплаты.

Но это уже было где-то не ко мне. На автопилоте, взяв расчет, не глядя и не оглядываясь, я уже хлебал открытыми ртами своих хваленых чешских тувель стреловидную мостовую Манхеттена – прямо и прямо. Я шел и шел, потому что останавливаться было нельзя. Останавливаться – значит «в никуда». Весь этот огромный мир, говорящий на ста языках, с магазинами, зазывалами, спешащими клерками, «торчками» у перекрестков и бомжами на вентиляционных теплых решетках подземки был не передо мной, как казалось чуть раньше, а, словно навалился сверху. Прямо на голову.

По промерзшим улицам Нью-Йорка уже сквозило мое первое настоящее Рождество и ряженые, в красном, Санта Клаусы кивали из витрин, как на киношном карнавале какого-то отстраненно – потустороннего мира. Но это и была реальность.

Говорят, что люди, пережившие клиническую смерть, видят себя как бы со стороны. Странно, но я физически ощущал почти то же самое. Словно все это происходило не со мной. И я видел себя, идущего, то сбоку – рядом, то сверху – издалека.

– Ну ладно, – вдруг вырвалось вслух через час, или два, или три у бесконечных ангаров полутемной улочки почти на берегу Гудзона – Ну ладно... Значит, так и будет. Но, если какая-нибудь б... еще раз скажет мне про еврейское брат-

ство, я размажу ее антисемитскую морду в крошку.

И стало легко.

И смертельно захотелось жить.

Для начала я нашел комнату на Брайтоне. Денег как раз хватило заплатить за первый месяц авансом, вместо положенных двух. Хозяева и не настаивали. Пластиковая баночка из-под йогурта стала на первые недели – чашкой для чая. Кипятильник, друг командировочного, чайником. Несложный подсчет – жесткой нормой. Два доллара на метро. Два доллара – сигареты и газеты. И еще полтора, на слайс пиццы и стакан кофе в обед. Итого, 6—8 долларов в день. Уже не так голодно. Обращаться за велфером, социальным пособием, мне даже и в голову не пришло. Нужно было срочно заработать на хлеб и угол, а не тратить время на прошения и ожидания подачек.

«Они» – себе, я – себе...

И пошло-поехало. Мыть, убирать, таскать, укладывать...

Первые статьи в «Новое русское слово» взяли сразу, но рабочие места там были заняты. Вечера за полночь заполнили газеты с выписанными оттуда в тетрадку новыми словами. На выходные – подработка на свадьбах и торжествах. Это была песня без слов.

Случайно встреченный почти земляк, бывший еще до меня в Воркуте оператор тамошнего телевидения, здесь вместе

с сыном снимал радости чьей-то торговой жизни. За тридцатку ребята пригласили меня держать им свет.

Самым трудным оказалось делать это в первый раз.

Крупные женщины с лакированными головами в нарядных блестящих платьях украинской глубинки, пузатые мужчинки с золотыми тяжелыми цепями и шестиконечными звездами, тринадцатилетний виновник торжества, справляющий по нужде местных приличий свою бармицву совершеннолетия – все, в одном коктейле понтового хора оживших бабелевских лиц.

Ребята дотошно снимали степенно входивших гостей и подсказывали, с какой стороны заходить со светом. Мальчик, в специально пошитом белом костюме, размеренно принимал поздравления и, вдруг, единоутробно прокричав «ле-хаим», гости решительно и резко, как в последний бой, рванулись к еде. На эстраду вышла певица и запела какую-то популярную песню Пугачевой. Из тех, что тогда повсюду гремели в России.

– Саш, свети на зал, ты чего?

И действительно, а чего я здесь делаю? И как я вообще сюда попал.

Человек – не скотина. Он ко всему привыкает. Особенно, когда на приставных стульях, в углу, дают десять минут поесть мяса.

Первую приличную работу, найденную по объявлению в толстой «Нью-Йорк Таймс», я провалил по незнанию. В головной офис высотного здания Всемирной сионистской организации нужен был специальный человек для работы на копировальной машине.

– Главное зацепиться хотя бы уборщиком, но в приличной фирме, а там разберемся.

В отделе кадров меня с интересом встретили и, расспросив, даже угостили кофе.

– Думаю, вы подходите, – сказали мне, но главное слово – у непосредственного начальника отдела.

– Так вы говорите, что были рабочим в России? – шустрый дядька, явно ашкеназ с недавними европейскими корнями, выразительно посмотрел на мои, уже огрубевшие, но генетически далеко не крупные руки.

– Конечно. Слесарем-сборщиком.

Я уже знал из личного опыта, что понятия «журналист» или университет – это гарантия немедленного отказа. «Богу – Богово, а слесарю – слесарево».

– У нас небольшая зарплата – надавил он – А работы много. Надо делать копии и разносить их по отделам.

– Главное работа.

Попался я на нескольких дополнительных вопросах. Он спросил, как называется столица Китая, что такое «Варшава» и сколько будет что-то там из таблицы умножения, типа пятью пять.

Я, дурак, и ответил.

– Вы слишком квалифицированы для такой работы, – вздохнул дядька. – Ну поймите сами, мне нужен работник на долгое время. Я возьму чернокожего парня и он будет работать здесь годами. А вы, согласитесь, через пять-шесть месяцев, оглядевшись, перейдете в какой-нибудь отдел или еще куда...

– Но мне нужна работа и деньги на жизнь сегодня.

– Ничего, это вопрос времени. Америка для таких как вы, я же вижу.

Вторую из приличных работ я завалил в большом книжном магазине Манхэттена. Там нужен был грузчик и я пришел уже по рекомендации знакомого американца, с которым мы как-то разговорились на улице. Американец видимо слишком хорошо обо мне отозвался, потому что менеджер даже не стал прикидываться и тратить свое время. Он просто поднял со стола кипу заполненных анкет и тряхнул ими в воздухе.

– Вот здесь более пятидесяти заявлений на эту работу...

Шесть дней в неделю по утрам я долбил лед на тротуаре против магазина подержанной мебели, чтобы прохожие, поскользнувшись, не подали в суд. А затем сушил соплю у обогревателя в промерзшем насквозь помещении, отбиваясь не столько от редких в этом афроамериканском районе

Бруклина покупателей, сколько от вьетнамского вида рекетиров, которые время от времени заходили и грозно требовали хозяина.

В ответ я предлагал им матрасы «кинг-сайз», видимо, украденные с фабрики, поскольку они были в упаковке. И вьетнамцы, ругаясь и грозя, уходили в темень улицы, обещая вернуться.

Как-то вдруг неожиданно, как все хорошее, реально засветилось настоящее дело. В Нью-Йоркском офисе радио «Свобода» на русском языке не было даже внештатных вакансий. Но в небольшой белорусской редакции, которая располагалась здесь же, заказали несколько материалов, без политики – о жизни эмигрантов, сумевших поднять свой первый бизнес. Вновь прибывшие в то время сплошь говорили по-русски, а уже небольшие вводные тексты, взяв словари, я составлял на белорусском. Проблема была даже не в отсутствии языковой практики. Знакомую на слух с детства «мову» можно было восстановить. А вот произношение... К тому же основная работа в магазине, английский и усталость выдавливали все на свете.

И тут произошел случай, после которого любой язык, который жизнь сама дает людям, живущим в той же Беларуси, Украине, Эстонии или Израиле, стал для меня столь же значимым, как и языки мировые. Никогда не знаешь, если ты в движении, что может поставить непростые шаткие обстоя-

тельства на нормальные устойчивые рельсы.

Очень скоро, даже слишком, мне сказали, что в белорусскую редакцию «Свободы» в Мюнхене, при очень хороших условиях нужен молодой человек. И я вроде подхожу. Это уже был прорыв. С Америкой, за три месяца тамошней жизни, меня еще ничего не связывало, кроме как «не дай Бог такого дерьма моим детям».

Накануне интервью не спалось и, отпросившись, разумеется, за свой счет, с работы я до утра листал белорусско-русский словарь. Но произошло то, что и должно было случиться.

Язык, как женщина, прощает все или почти все. Кроме высокомерного игнорирования.

Руководитель службы, интеллигентный профессор-филолог, разговаривал со мной, понятно, на чистом белорусском. Когда на нем говорят правильно, это слышится красиво и даже, как мне казалось здесь, в Нью-Йорке, тепло. Проблема, однако, была в том, что мне тоже надо было свободно отвечать.

Я старался отбиваться однозначными и отдельными фразами. Но они складывались, а не пелись. И грянул незабвенный финал.

– Ну что ж, мы подумаем и поставим вас в известность, – сказал профессор по – белорусски – Я не один решаю этот вопрос. Конечно, вам надо серьезно работать над произношением, а в Мюнхене нужны, с точки зрения языка, уже го-

товые люди. Но желаю вам удачи.

Он протянул руку. Я подскочил и, глядя ему прямо в глаза, вдруг выпалил

– Дзенькую бардзо.

В смысле, «большое спасибо». И на... польском.

Мало мне не показалось. Ни тогда, ни потом. Кажется – это когда много.

Но еще через полгода, будучи заместителем декана летней школы одного из престижных американских колледжей, мне пришлось постоянно отвечать на одни и те же вопросы студентов – А как вы получили эту работу? И как вы к этому шли?

– Почему вы постоянно спрашиваете? – однажды не выдержал я.

– Что значит «почему»? – удивились студенты – Мы учимся, как правильно относиться к жизни и добиваться своего.

Если бы я знал...

Албанский бункер

Когда конструктор бетонных огневых точек, дотов, предложил свой вариант, то стал утверждать, что они выдержат и огонь из любых танковых пушек врага. Диктатор Албании Энвер Ходжа предложил ему, в ответ, самому залезть в такой бункер и затем приказал обстрелять из орудий. Жить захочешь – полезешь и под танк. Инженер остался цел, даже не ранен, и именно его разработки вскоре покрыли всю страну.

В Албании их невозможно не заметить. Они повсюду.

Где-то меньше, а где-то очень много. Доты, врытые в землю и на склонах возвышенностей и прямо на полях. Поначалу я не понял почему? Потом сообразил, что крестьянские поля – это нередко долины, которые с военной точки зрения представляют собой естественные проходы для врага.

Полагают, что бункеров здесь более шестисот тысяч.

Это очень много на маленькую страну.

Когда их строили, то получалось, что один такой укрепленный пункт приходится на 4—5 жителей, включая детей.

Есть большие, на целый взвод. Есть средние. И совсем маленькие, на одного бойца. Как малогабаритная, но зато отдельная могила героя в готовом бетонном склепе.

Вся Албания, и без того бедная, работала и возводила эти серые, как жизнь, сооружения. Которые надо было еще

и содержать. И проводить учения быстрого реагирования на опасность, которая извне. С внутренней диктатура справлялась сама. Но потом переродилась в демократию.

Сегодня бункеры полуразрушены. А те, что побольше – потаенное место молодежи для развлечений гиперсексуального возраста. Грязновато, но уединенно.

В юности место не имеет значения. Имеет место другое.

Я вздохнул, вспомнив молодость. Но выдохнул и стал жить дальше. От бункера к бункеру.

Увидев, что я снимаю, скрепер остановился из него вышел тракторист. Ничего особенного для меня, но, кто его знает? Страна незнакомая...

– Вот, несколько кадров делаю. Турист. Не мешаю? – показал жестами. Албанцы очень дружелюбны и открыты к общению. Но языков пока не знают.

– Мешаешь, – кивнул головой тракторист.

– Ну я немного еще похожу? Хорошо?

Нет, – он закрутил башкой вправо и влево. Так мы с ним переговаривались пару минут.

Он улыбался. Но все время был против.

И тут до меня дошло. У них, здесь «да» – это как везде головой показывают «нет» и наоборот. Везде – кроме Македонии и Болгарии. Так и оказалось. Только привыкнуть трудно.

Пока говорили подъехала дорожная полиция и я решил, что поразденут, себе на радость. Или поиздеваются. Как это бывает в некоторых странах. Тем более, что моя маши-

не немного стояла и на асфальте. А не совсем на обочине. Но полицейский с жезлом встал у нее, рядом, и показывал проезжающим, пусть и редким, машинам, чтоб ехали аккуратнее и объезжали. И я их зауважал. Взаимно.

А мы с трактористом покурили. Что-то поспрашивали ни о чем. Ничего не поняли, но понравились друг другу. Попрощались тепло – и разъехались.

Может потому Албания в свое время и отделилась от всего мира, что ни она, ни ее не понимали.

«Да – нет» – базовые понятия любого общения. От личного – до межгосударственного. Главное хотеть общаться. И искренне. Тогда и любой бункер стодит

Дуче

Флоренция. Золотой мост. Лавка сувениров. Значки. Медали...

– Мне, пожалуйста, вот этот бюстик Муссолини, – показываю.

– Хотите побольше? – подсовывает продавец.

– Этого достаточно, – отвечаю и, понизив голос, спрашиваю. — Может, у вас есть Сталин или Гитлер?

– Вы что? – возмущается продавец. – Они же фашисты...

Книга жизни

Все, почти все, звали его Анатолий Иванович. А я, когда вокруг не было никого, Толик. Мы учились вместе, в юности. И нередко сидели в одной кампании или вдвоем, за бутылкой вина, почти до утра. Я читал свои стихи. А Толик читал книги о писателях и поэтах. И говорил о них, о стихах и разные истории из их жизни. Своей-то еще не было.

– Здорово! Какой ты молодец! – восхищался я. И не только. Это много позже мне стало понятно, что читал он не слишком много и, поскольку память не засорял, то помнил много деталей, эпизодов и фраз. Потом еще одну какую-нибудь прочтет и сыплет, сыплет.

А мне Толик всегда перчил, чтоб не застаивался, одной и той же горстью – Неправильно ты делаешь. Нерационально. Что-то написал и показываешь. И отдаешь. О том, о сём. А потом снова. Надо не размениваться по мелочам, тем более, на журналистику, а беречь и копить Слово. И, если писать, так одну книгу. Но главную и великую. Библию. В этом предназначение. Я вот сяду и напишу.

Потом на много лет мы с ним потерялись. Точнее, я. А Толик так и жил в нашем городе, зацепившись за работу при каком-то журнале. Затем перешел на руководящую. И стал Анатолием Ивановичем. Получил от государства квартиру,

оборудовал дома кабинет с книжными полками и шикарным баром. Подальше от глаз жены. Там мы с ним не часто, но временами попивали и неспешно беседовали.

Писал он отчеты, какие-то статьи, но иногда о поэтах или писателях. О тех, о ком можно или модно писать. Чтоб платили и замечали. Но, в основном, говорил. Тем, кто рядом. Уже не девушкам, а женщинам.

– А ты зря растрачиваешься, – журил он меня, по-дружески, – Бесконечная работа, ненужные и неблагодарные люди, творчество какое-то, детей настрогал, не вздохнуть – не отдохнуть. А главное в жизни проходит мимо, ненаписанное...

– Да как-то не мешает и не скучно, – лениво отбивал я, наливая нам по очередной порции виски из его бара. Мне это было можно. И даже разрешалось курить. Поскольку Толик берег здоровье, соблюдал диеты, ездил в санатории и занимался дома на тренажерах.

Курить я все равно выходил на балкон. Из уважения к нему.

Так мы и пересекались. Иногда. Тем более, что заботливая его жена приносила прямо в кабинет закуску, а то и хороший ужин. Толик ценил не только книги, но и достойную кухню. А главное, по мне, был действительно душевным. Но и о своей работе не говорил. Не о чем.

Однажды он показал, с гордостью, большой том в солидной обложке из натуральной кожи. На нем ничего не было

написано. И в нем тоже. А страницы отливались чистотой и глянцем. Корочки обложки, сверху и снизу, закрепляла такая же кожаная дужка с довольно большим для книги позолоченным замком.

– Вот, гордо сказал он – Приобрел. Красиво же.

– Очень, – согласился я – Неужели...?

– Да, – прервал меня Толик – Буду каждый день или, как получится, но регулярно писать здесь большую и серьезную вещь. От руки. На компьютере набирать, а сюда заносить. О мире, и жизни, о себе, о тебе, обо всем на свете. Художественный роман. Настоящий, на века. Книгу Жизни. Название не скажу, рано. Но концепция, мысли, персонажи – всё уже здесь.

Он постучал себя по голове. Уже слегка поседевшей.

– Здорово! Какой ты молодец, – в который раз сказал я, порадовавшись.

Потом, бывая у него, мне всегда попадался на письменном столе, чуть в сторонке, этот его весомый и прекрасный переливами и орнаментом том.

– Чтоб перед глазами был и напоминал: не расслабляйся по мелочам суеты и ширпотреба, – пояснил как-то Толик. – Тебе первому потом и покажу.

Мне оставалось только восхищенно еще раз покачать головой. И ехать то на работу, то за детьми, то еще куда – за всех.

А потом я снова надолго уехал, по делам и жизни, в другую страну. И вернулся, как уже бывало и прежде, только через шесть – семь лет. И мы снова виделись. Ненадолго, но, как обычно, у него дома, в кабинете.

И пили вискарь, и разговаривали пару часиков, оба занятые своим.

И я всегда видел на столе у него ту самую кожаную книгу, но не спрашивал, как идет работа. Зачем? Напишет и покажет. Толик же, по-прежнему, был еще более солидным, заматерелым и увесистым. На слово. При каких-то уже званиях и обойме соучастия в окололитературных тусовках. Он сыпал, по-прежнему, именами и его «я» всегда было вместе с ними. Выше некуда. Потому что где-то там, не знаю где. Мне-то какое дело? У меня своё.

А время шло своим чередом. Вернувшись как-то из дальней поездки по материкам и странам, я вспомнил, что мы не виделись года полтора и позвонил.

Трубку сначала взял незнакомый мужчина с неказистым голосом, но потом передал ее хозяйке.

– Толика уже нет с нами, – сказала она – Как случилось? Шел по улице и вдруг упал. Несколько дней еще боролся, но... Она замолчала. – Анатолий оставил для тебя кое-что. Подъезжай как-нибудь, забери. Раз он хотел и говорил об этом.

Она сама открыла дверь, хотя из кабинета Толика вышел, по-хозяйски, какой-то мужик в его халате и нырнул обратно, небрежно кивнув мне, типа, привет. Мы переговорили на кухне подробнее, как это все произошло и где навестить Толика теперь.

Я забрал пакет с чем-то, завернутым в газету и поехал домой.

В пакете оказался увесистый кожаный том с солидным замком. Тот самый, главный. С романом – «Библией». Но без ключа. Что меня не удивило. Толик всегда был щепетилен и скрытен по поводу своего творчества.

– Оно сакрально, – говорил он значительно – А ты вот свое не ценишь.

Открыть замок я сам не смог, поковырявшись в нем ножницами и шпильками. И вызвал специалиста-слесаря. Когда тот разобрался наконец и ушел, довольный, я сделал себе кофе, приготовил новую пачку сигарет, прикурил и поудобнее уселся в кресло.

Я был благодарен Толику за такое доверие, но понимал, что, как не последний журналист со связями и многими людьми вокруг, всегда найду кому передать для редакции и, если надо, издания. И сделаю это, не отбрасывая и не оставляя далеко на потом. Книга Жизни, как-никак.

Том увесисто чувствовался на руках, отягощенный. Я осторожно раскрыл книгу. За солидной обложкой названия

не было. Я открыл дальше, еще дальше и пролистал, всматриваясь.

На меня смотрели, отливаясь девственным гляncем, бездонные, как темень в глазах, белые страницы.

Лунная дорожка

Сбиться с главной дороги очень просто. Едешь, вроде, правильно. Но где-то в темноте, зазевавшись, проскочишь дорожный знак. И вдруг видишь, что под колесами уже бежит разбитый асфальт, а справа и слева черные горы и кустарник. Но ты все равно идешь вперед и вперед.

По карте направление было верным, и я должен был где-то выскочить на Танжир – легендарный марокканский город, ворота для европейцев и французских легионеров, уходивших отсюда на юг, на Маракеш, на Сахару.

Поскольку мой самолет в Европу улетал днем уже наступивших суток, я решил не искушать судьбу, ночуя где-то по дороге, а дотянуть до Танжира. Надо было еще сдать машину, взятую напрокат две недели назад. Мало ли какие проблемы возникнут в восточной, коррумпированной, как власть, стране. Особенно, если знают, что рейс у тебя через несколько часов и спорить некогда. Вот и вляпался, предусмотрительный.

Может, и повернул бы назад, до того маленького, живого городка, где, собственно, и сбился с главной дороги на проселочную. Но позади, вдалеке, во мгле, из-за гор замаячили фары. Дорога вообще растворилась и перешла в узкую грунтовку, посыпанную мелким щебнем. Я не рискнул развора-

чиваться обратно, навстречу фарам, с которыми нам трудно будет разойтись. И прибавил скорость, насколько позволяла ночь, размытые ямы и горные закоулки.

Сразу за каким-то поворотом я почти влетел в трех военных в зеленой или серой форме, стоявших у своего джипа с погашенными огнями прямо на дороге. У двоих в руках были винтовки. У третьего, старшего, фонарик.

– Документы... Выходите из машины... Паспорт... Откройте багажник...

Старший дышал за спиной прямо в ухо. Двое других с карабинами наизготовку – справа и слева. Сзади. Они попросили открыть багажник, пощупали, как девку, рюкзак, посмотрели, подсвечивая, бумаги и расслабились.

– Ты что, сумасшедший? – спросил старший, угощаясь сигаретой. – Здесь только бандиты и контрабандисты ездят. Да еще ночью. Паспорт у тебя странный...

– Это не паспорт. Это британский документ для поездок. Он выдается, пока не получишь гражданство.

– Не понял, – насторожился старший. И парни в форме снова подняли свои винтовки. – Так ты не британец?

– Нет. Но я живу в Англии, в Лондоне.

– А какое у тебя гражданство?

Вы начнете объяснять марокканскому полицейскому, фуражка которого не выше уровня местных контрабандистов, на проселочной дороге, в глубинке приморских гор, дале-

ко за полночь, что из Советского Союза можно было уехать, только лишившись гражданства? Тогда «они» лишали всех прав уезжавших, а потом передумали и лишили гражданства всю страну. Но это потом.

– Нет пока никакого гражданства. Надо пять-шесть лет прожить в той же Англии, чтобы его получить.

– Так не бывает, – степенно сказал полицейский и зашел с другой стороны. – Ты какому Богу молишься?

– Я атеист.

– Не понял, – снова напрягся марокканец таким тоном, что мне мало не показалось. – Ты в Христа веришь?

– Нет.

– Мусульманин?

– Нет.

– Иудаизм? Синагога?

«Грамотный», – подумал я. – Нет. Что вы от меня хотите?

– Какой твой Бог? Человек должен быть при Боге и при государстве. Иначе он не человек, а так...

Офицер подцепил ногой камешек, и тот покатился в сторону, вдруг резко затихнув где-то в темноте.

– Я живу в Англии. До Англии – в США. До США – в России. А в Бога я не верю.

На минуту в ночной цикадной тишине зависла пауза. Старший думал и смотрел на меня, по-рыбьи открывая рот. Потом резко позвал солдат и прямо им в лицо стал что-то

гортанно и громко говорить. Солдаты замерли, поглядывая на меня, прижатого к багажнику. И вдруг все стали смеяться. Они толкали друг друга, лихо закинув винтовки на плечо, и показывали пальцами. Им было очень весело.

Я только тогда заметил, что мы стоим недалеко от обрыва, за которым пролегла позолоченная лунная дорожка, ведущая куда-то в море. Далеко и ввысь.

– Повтори еще раз, чудо-юдо, – сказал старший. – Ты не христианин, не мусульманин, не иудей. То есть ты не ходишь ни в какой храм?

– Нет. Храм в душе, – я показал на сердце. – Этого достаточно.

Похоже, они давно так не веселились.

– Езжай, иншаллах... – Старший вытирал слезы, откашливаясь от смеха. – Считай, что тебе повезло. Марокко – хорошая страна?

– Лучшая в мире, – теперь уже веселился я.

Мне показалось, что они отпустили меня с сожалением.

А машина, долго висящая «на хвосте» в ночи, так и не появилась.

Может, и вправду Бог есть?

Но уж точно не на Земле.

В пустыне

Мы неспешно проговорили. Ни о чем. О жизни. Спешить было некуда. Ему-то уж точно. А у меня было ощущение умиротворения, идущие и от него, и от пустыни вокруг. Несмотря на третий наперсток душистого черного варева на открытом огне. – Ты образован и воспитан, – меня этот человек в глубине Негева удивил и порадовал. Было легко говорить. И слушать. – С такими, как ты, хочется выпить еще кофе.

– Я сделаю, – сказал он и пододвинул турку к жаровне – Но что ты всё-таки хотел еще спросить?

– Почему ты живешь здесь, а пустыне, в палатке? С верблюдами?

– Я бедуин, – ответил он. И, поймав легкое разочарование и даже обиду на моем лице, пояснил – А с кем мне жить? Здесь никто ко мне не пристает и не вмешивается. И все зависит только от меня. А у вас... Он помолчал, махнув рукой куда-то за палатку – У вас каждый боится остаться с собой, потому как не с кем оставаться. Вот и лезут люди друг к другу. Или соседи, или государство. Даже прохожие, идущие своей дорогой и в себе, могут толкнуть. У меня так не бывает. Видел, какое здесь ночью небо? А слушал? Значит, должен знать о чем я. Ты вот пришел – спасибо. Значит, я не одинок с тобой. И послушал, у поговорил. Но у те-

бя сегодня еще много дел и надо ехать. Тебе надо. Или кому-то от тебя. Ты же всем нужен, я вижу. Кроме себя. Не пришел бы – тоже спасибо. Что был и что есть. А я все равно останусь один. Зато никому не мешаю.

Рядом, в загоне, тоскливо вопил верблюд. Но я нему близко не подошел. Побоялся, что плюнет.

20 минут

Человека отличает от животного только то, что он живет по своим понятиям о жизни, а не по ее законам выживания.

Я стоял перед проходной шахты в конце рабочей смены и даже не вглядывался в лица. Мне было наплевать на лица. Мне нужны были три человека, которые согласятся срочно сдать кровь.

В больнице сказали, что мать теряет сознание и помочь ей может только новое вливание плазмы. А ее нет. Вернее есть, но в обмен на три порции новой крови, оставленной на станции переливания. До ее закрытия оставалось чуть более часа, а где найдешь доноров на улице, пусть и в миллионном городе. Да еще трех сразу.

Людей много, а попробуй, найди человека?

И я поехал к шахте. Оттуда группами, по двое и более, выходили раскрасневшиеся после недавнего душа рабочие. Им было хорошо на воздухе и от этого нравилось жить. А в багажнике моей машины лежали только что купленные шесть бутылок водки. По две на брата...

Когда мы с шахтерами приехали на станцию переливания, оставалось еще двадцать минут до окончания рабочего дня.

– Мы не будем принимать кровь, – сказал молодая тетка в регистратуре – Я еще стану боксы мыть в конце смены?

Завтра приходите...

И никакие уговоры на нее не действовали.

– 20 минут... 20 минут... – повторяла она за мной – Он еще будет время мое считать.

Кто сказал, что жизнь – бесценна, если ее дни измеряются деньгами?

Я видел только мнущихся шахтеров, которым уже надо бы домой, и еще – простыню, натянутую до подбородка и острое, вытянувшееся лицо матери с закрытыми глазами.

– Иди отсюда, русского языка не понимаешь? – кричала молодуха – Сказано же, что никого принимать сегодня не буду...

А дальше я не помню. Эта «затемненка» в глазах и в сознании накатила на несколько секунд такой жгучей ненавистью, которой я еще не знал, и пришел в себя уже почти висющим на решетке, разделяющей холл и регистратуру с бесформенным бесполом белым пятном, дергающемся от злобы и страха где-то в углу.

– Милиция, милиция. – орала она – Покушение, помогите. Он меня, женщину, сухой обозвал. Женщину! Вы будете свидетелями.

Шахтеры угрюмо смотрели в сторону.

Откуда-то сверху спустилась врач и, выслушав, не вникая, все-таки забрала их с собой. Молча выписала нужную справку, и я рванул в больницу – только бы скорее...

С тех пор я стал присматриваться и понял, что женщин в этом мире гораздо меньше, чем сук.

Но вслух об этом лучше не говорить.

Точнее, и об этом тоже.

Белый снег

Она была некрасива, если не сказать всю правду. Но какой же дурак станет ее говорить? Поэтому, взглянув на ее, я воздержался от комплиментов.

– Хорошая у меня жена? – спросил пастух-оленовод и разлил спирт в алюминиевые кружки. Он был в малице до пят, как в рясе и радовался гостям, свалившимся с неба на вертолете. В тундре с неба всегда сваливается что-нибудь хорошее и полезное в хозяйстве.

Но парадокс в том, что от этого люди там не становятся верующими. Если не считать преклонение перед природой и разными духами, выделяющими человека из животных. Да и то, пока он сыт и здоров.

– Красивая жена? – переспросил пастух. Ему хотелось поделиться радостью. И это было очень по-человечески.

– Конечно, – честно соврал я и почувствовал губами кусачесть промерзлой кружки. Пряный запах оленьих шкур смешивался с густым привкусом хищного горячего спирта. Почти в два раз крепче водки. Рядом, за оленьей шкурой, отделяющей чум от тундры, стояло за 40 градусов мороза. Так что все уравновешивалось.

На снегу, белом, как небо, олени лениво косили глазом, а собаки, глянув, отворачивались. Не как от чужого, а как

от своего.

У них, психически здоровых, от природы, было только два основных азарта: опасности и бега работы. На остальном они экономили энергию и не разбрасывались на злобу или суету. Остальное не имело значения.

Собственно, то же было и у живущих здесь людей. Но сдержанных, подавляющих в себе те или иные порывы и эмоции. И спокойных. Как вечная снежная тундра вокруг на сотни километров.

От человека – до неба.

Я уже не первый раз летал далеко в тундру на съемки для своей программы на ТВ и понял это наверняка. Такое приходит само, откуда-то, как любовь. Уверенно и светло.

– Как вы здесь живете? – по возможности, оптимистичнее спросил я и отвел глаза от женщины, которую тянул за рукав, удерживая перед собой, напоказ, пастух. Мне не хотелось долго смотреть на нее, потому что я знал, что рефлекторно начну представлять ее раздетой. А это, судя по тому, что видел, испортит аппетит и послевкусие крепкого спирта.

На женщину нельзя долго смотреть. Как и в бездну.

– Живем, – в ответ растерянно взмахнул рукой хозяин. И я понял, что он об этом и не задумывался, счастливый. За оленями надо все время присматривать, отводить стадо, где есть корм. И снова двигаться. Принимать роды, охотиться, рыбачить, отделять больных, разделявать. Есть, чем за-

ниматься. Это и есть жизнь.

Я вдруг заметил, что не видел в чумах маленьких детей и стариков. Только молодые и средних лет мужчины. И такие же женщины. Сначала такое показалось противоестественным, но потом я подумал ровно наоборот. Как раз это очень естественно. Для людей, живущих среди природы и, по сути, ставшими ее частью. Только прежде здесь рождались и младенцы. Сегодня их оставляют в интернатах, где есть и тепло, и безопасность, и врачи. Но умирает настоящее чувство дома. Дети же еще не живут. Они просто есть. Как и мир вокруг них. Какой-никакой, но данность. Жить они начинают, когда приходит сравнение с другими. И желание иметь. Побольше. Красивее. Лучше. И кто-то мешает. Не инстинкт, по потребностям. А желание, без возможностей. Так приходят другие, словно благо или зло. Тоже, как данность. А потом и понимание. С ним, позже, начинается жечь одиночество. Унижая или спасая.

Одиночество бывает только среди людей. В тундре его не знают. В тундре вокруг снег, южнее кустарник и пролески, холод, зайцы, олени, собаки, волки. Надо доставать и готовить еду. Принимать окружающее, как оно есть и преодолевать, если надо. Как часть этого мира, не более. Человеку из чума есть о чем и о ком задумываться в глубину. Но снега, животных, духов, неба. Кроме себя, такого же. Обычного и понятного. Значит живого. Что еще надо?

– Будем снимать? – спросил оператор, прижимая сумку с камерой к себе, к теплу. Он беспокоился, опытный, что поземка сорвется в метель и «борт» не сможет забрать нас обратно. А мы застрянем, беззащитные перед снежной стеной вокруг на день – два. Бессмысленно.

– Надо бы, – отозвался я, отрезая на закуску очередной кусок мороженого хариуса. Пресного, но мясистого, как тоска. И пойманного подо льдом какого-то невидимого постороннему глазу присыпанного снегом озера, может и недалеко. С вяленой олениной, под спирт, в меру, он скатывался в глотку сам, неразжеванный.

– Давай еще немного, – уже подливал в кружки захмелевший пастух. Он же охотник. А другой нарезал примерзлый, привезенный нами хлеб большими ломтями. Пока он не рассыпался от мороза.

Женщина поднесла ледяной, ударившей по зубам, воды для моей «запивки» и уселась у закоптелой небольшой печки. Она смотрела на нас с молчаливой радостью и спокойствием, похожим на равнодушие. Как смотрят на понравившуюся картину в галерее. Ей было красиво. Все притаились повернувшись ко мне, ожидая.

Я глянул на оленеводов с их простыми, рано морщинистыми и плоскими, как Земля, лицами. Открытыми и простыми, словно тундра. И жизнь. Если её не закручивать, внутри,

в метель и не слушать никого со стороны. Даже метеорологов. Небо, звезды и животные сами подскажут, что будет потом. Надо просто видеть и их читать. Не додумывая за них своё, глупое. Этого достаточно.

– Так будем снимать? – повторил оператор. Его лицо уже покраснелось и с пылу с жару он уже рвался на простор. Отстреляться – и домой. Прогретый морозный дым валил из наших ртов, словно из пасти оленей, застоявшихся на житейском ветру.

Я спохватился, поднял кружку и пробежался по лицам, от оленеводов до оператора – Будем!

Мужчины, присоединяясь, облегченно выдохнули, нетерпеливые. Перед бесцветной на вид, но огненной водой. Горячей, словно желание чувствовать себя живым, отпустившем. И потому приподнятым. – Будем!

А за их спинами, у печки, утирая сопли, восхищенно смотрела на меня очумелая хозяйка.

Гостеприимство

Один человек мне сказал, что рад гостям в своем городе.

И я вдруг почувствовал, насколько трудно жить без пи-
стоleta.

Мы оба стояли в дверях моего номера центральной гостиницы провинциального российского города. На втором этаже вдоль длинного и довольно сумрачного коридора носился неистребимый запах казенной мебели и какой-то невысказанной прохладной тоски. Я едва открыл дверь и переступил порог, как в проеме, выставив ногу вперед, возник Он. Невысокий, крепкий, почти насмешливый.

– Мы рады приличным гостям в нашем городе. Вы у нас по делам?

– По делам. Извините...

Дверь уперлась в носок его ноги.

– Вы, наверное, у нас впервые, – доброжелательно сказал он. – И не знаете, что за пребывание по делам в нашем городе надо платить налог. Совсем небольшой, всего десять процентов. Независимо от времени проживания. Но вы ведь ненадолго?

– Вы смеетесь, – я уже понял, что влип, и, похоже, зря обрадовался недорогим ценам за отдельный суточный номер.

– Ну что вы, – почти обиженно сказал он и подвинулся. Через проход за ним, упершись в стену плечом, небрежно

стоял второй парень и безразлично ковырял в ногтях убедительным таким ножом с зубчиками в верхней части лезвия. – Налог – это святое. Не думаю, что вы хотите неприятностей. Тут один начал грозить, типа «полиция», так нос сломал от крика и еще порезался о казенный стакан. Пришлось платить... Можно ваш кошелек?

Я достал лопатник и с ужасом осознал, что там лежат две тысячи долларов. Привычка брать денег про запас – мало ли? Вышло, что мало не будет.

– Оставь на дорогу, командир. Да и выпить придется по такому случаю.

Мне стало смешно. Мы говорили, словно старые знакомые, обсуждающие общие бытовые дела.

Он хмыкнул на кредитную карточку, вытащил деньги и быстро пересчитал, словно почесав пальцы.

Я подхватил сумку, прошел в номер и бросил ее на деревянную кровать. Все было прилично, застелено, чистенько и даже уютно. Злости не было. Страх тоже. Только усталость.

– Возьмите, – вдруг сказал Он, укладывая доллары обратно в кошелек и протягивая его мне. – Ваши деньги за вычетом десяти процентов, двести долларов. Нам чужого не надо.

Они оба словно растворились в полумраке коридора, бесшумно до кошмара.

Привязанный крученым шнуром пульт к телевизору не работал. Зато за окном красовалась аккуратненькая луко-

вица недавно отреставрированной церкви.

Почему-то хотелось жить.

– Хороший город. Нашел почти две тысячи баксов, – подумал я. – Повезло...

Хамас

В углу комнаты были свалены плакаты и транспаранты, на одном из которых в стиле детского примитивизма болтался на виселице человек с шестиконечной звездой.

Интервью, почти в подполье, с региональным координатором «Хамаса», исламского движения, было недолгим и мы стали собираться. Накануне, по моей просьбе о встрече, какие-то арабские ребята попросили оставить машину в приграничной деревне, уже в Палестинской автономии, и пересадили нас с оператором к себе.

Глаза не завязывали, никаких киношных игр не было.

Покрутили полчаса по проселкам, привезли к окраинному дому, предложили кофе, разрешили его «под сигаретку» и «координатор» еще раз подтвердил, что они будут бороться до тех пор, пока Израиля не станет на карте мира. Там будут жить арабы вместе с коренными евреями. А приехавшие, те же «русские», должны вернуться обратно домой в свою Россию. Приезжие – и есть оккупанты. И ни на какие компромиссы «Хамас» в этом не пойдет.

– Сразу видно, что вы русский, – сказал «координатор» на прощание – А ваш оператор еврей.

– Почему?

– Евреи начинают спорить, а вы только спрашиваете.

– А мой товарищ? Он, вообще, молчал.

– Он напряжен и нервничает.

– Быстро мы, – облегченно сказал оператор, когда мы пересели в свою машину и поехали в сторону израильского блокпоста.

– Нет, – ответил я – Это надолго.

И подумал, вдруг занервничав, – И спорить тут не о чем.

Учите китайский

Пока одни мучительно ищут Бога, другим достаточно в него просто верить.

Стоящая на коленях женщина отвешивала поклоны в чадку курительных палочек. В этом не было ничего удивительного, особенно здесь, в Китае, как и во всем регионе Восточной Азии, где особо почитают культ предков. В жилых домах и даже в кафе или рабочих мастерских Кореи, Вьетнама, Таиланда, Тайваня довольно часто можно встретить уголки с портретами ушедших близких или просто с атрибутами культа предков в окружении благовоний.

В Китае правда это происходит только в храмах. Но, в целом, вписывалось и здесь – в комплексе зданий стилизованной старой китайской деревни. Эти домики с нехитрой крестьянской дореволюционной утварью и предметами быта полукругом огибали пруд в стиле дзен-буддизма – с уложенными четко, но красиво, камнями и продуманно высаженными деревьями. Уголок или даже комната предков были бы вполне естественны, хотя сегодня в этой стране и не типичны.

Я зашел в здание. При входе продавали связки курительных палочек и китайские женщины-туристки тут же зажигали их и ставили перед собой, чтобы встать на колени и отвешивать поклоны... одинокому бронзовому бюсту Мао Дзе

Дуна. Больше в этой комнате ничего не было.

– Снимать нельзя, – подскочила служащая. Я и не возражал. Я и так был в этих местах явно «белой вороной», в смысле, не китайцем. Да еще без группы, а так, сам по себе. Много времени прошло после смерти Мао Дзе Дуна, но и сегодня ежедневно десятки автобусов со всей страны стекаются в деревню, где родился вождь. Деревня расположена в ста тридцати километрах от губернского города Чанжа, в провинции Хунань, в глубинке страны и вдалеке от стандартных туристических маршрутов иностранцев. Ежегодно сюда приезжает до трех миллионов китайцев. Много, но для миллиарда трехсот миллионов современных жителей Поднебесной – почти капля в море.

В целом, место рождения вождя – довольно большой мемориальный комплекс, в отличие от советского Ульяновска и дома-музея В. Ленина, представляет из себя разбросанные на значительной площади объекты, где всегда есть посетители. В бывшей резиденции Мао слева от основного здания залы с фотографиями скорбящего Китая и всего мира по поводу его смерти. Справа – сотни фотографий Председателя КПК с видными политическими деятелями второй половины двадцатого века.

В основном здании – сидящий в центре зала вождь, обрамленный рядами красных флагов и цветов. В стороне – бюсты соратников по борьбе. Именно в этот дом в свое время приезжал Мао, чтобы отдохнуть от дел на малой Родине.

Кроме резиденции и старинной китайской крестьянской усадьбы десятки автобусов каждый день привозят сотни людей к дому, где родился Мао Дзе Дун и туристы непременно фотографируются на его фоне. В мемориал входит и еще одно место, где стоит небольшой бывший конфуцианский храм, заполненные портретами вождя и громадная гранитная статуя Мао.

Группы приносят и возлагают к ней венки, затем становится в две-три шеренги, в зависимости от количества людей, выравниваются и по команде трижды отвешивают поклон. Здесь же, у каждого объекта, продаются многочисленные сувениры, от зажигалок до фотографий и портсигаров с портретами вождя.

Совершенно очевидно, что поездка в этот мемориал для приезжающих сюда людей – событие и праздник. И они радуются и почитают Председателя Мао и все, что с ним связано, искренне и от всего сердца.

То, что и сегодня связано в Китае с именем Мао Дзе Дуна нельзя назвать культом личности в классическом понимании. Его громадный портрет висит над древними воротами, ведущими в знаменитый «запретный город», где пятьсот лет в затворничестве от мира и собственного народа жили китайские императоры. Портрет обозревает всю великую, самую большую в мире площадь Небесного спокойствия, Тянь-

аньмынь.

С другой стороны, прямо против портрета, расположен мавзолей вождя, бесплатно доступный для всех. Лик Мао, в обычных рамах, можно увидеть и в некоторых частных магазинчиках, и в парикмахерских, и китайских, не для туристов, ресторанчиках.

Никто не заставляет людей это делать, но и не мешает. Кстати, портретов руководителей нынешнего Китая я нигде не видел – достаточно новостей по основным каналам страны. Но героическую военную историю Китая двадцатых-пятидесятых годов прошлого века, революция и становление страны здесь явно принципиально не переписывают.

– У нас уважают председателя Мао, – пояснил мне китаец, учитель английского языка – Особенно в провинции, в центре и на юге страны. С именем этого человека народ связывает два важных обстоятельства. Во-первых, под его началом произошло подлинное объединение Китая, который веками на самом деле представлял из себя разрозненные, по сути, провинции и территории. А во-вторых, из отсталого, нищего, если не сказать феодального Китая, он построил индустриальную сильную державу и заложил основы той жизни, которая активно развивается сегодня.

– Я не очень большой сторонник Мао, – осторожно поделился со мной еще один случайный попутчик в общем вагоне китайского поезда – При нем было репрессировано и по-

гибло даже больше людей, чем при Сталине. Но они создали великие государства, которыми можно гордиться. Мао, как и Сталин, были большевиками, левыми радикалами. Время, наверное было такое. Сегодня коммунисты другие, умеренные. И это благо для Китая.

Я почему-то вспомнил знаменитый вопрос в фильме «Чапаев», заданный крестьянином комдиву. Вопрос, который по-настоящему понял только сейчас – «Василий Иванович, ты за большевиков аль за коммунистов?» В экстремальной исторической ситуации «умеренные» бы не выжили и потеряли всё. Их время приходит позже. Когда нужно просто жить.

Тем, кто дожил.

Похоже, что эти два мнения – основные в Китае, если говорить о Мао Дзе Дуне. Десятки и сотни громадных высоток уже сделали города страны временами похожими на Манхеттен. Жилые кварталы новых двадцати-тридцатиэтажек, вилл – это все реальность. Тысячи магазинчиков, ресторанов, частных объектов службы быта и столовых уже превратили китайские города в такие же активные зоны, как торговые районы Бруклина или европейских стран. Даже больше.

И до того, традиционно закрытое от мира китайское общество с психологией Поднебесной державы, а затем десятки лет самодостаточное, сегодня, открываясь миру и сообщаясь с ним, дает жителям этой страны чувство гордости

за прошлое и настоящее. И это восприятие осязаемо.

По телевидению на десятках китайских каналах совершенно спокойно уживаются и бесконечная концертная «попса», реклама, и сюжеты о молодых коммунистах. и полицейско-солдатские сериалы, и исторические «мыльные оперы», и целые эпопеи о народно-освободительной борьбе против японцев как буржуазного «гоминдана», так и коммунистов во главе с Председателем Мао, уравновешенным и мудрым.

Никто ничего разрушать не собирается – только строить. В начале века в Китае только официально признано более ста миллиардеров, пока еще по этому показателю на втором месте после США.

Дело Мао живет и побеждает. И растущий гигантскими шагами современный Китай, со всеми атрибутами бурного капитализма, судя по всему, и не думает отказываться или хотя бы приглушить песню о вожде. История должна цементировать государство и народ, а не разрушать их изнутри.

– У нас героическая история прошлого века, – сказал мне один из редких англоговорящих китайцев, встреченных в Мемориале вождя – И связана она, нравится это кому-то или нет, при всех перегибах и ошибках, с именем Мао Дзе Дуна. – Прошлое – основа будущего. Зачем нам его перечеркивать? У нас еще все впереди...

Моисей

И взошел Моисей на гору. И именно здесь, в Иордании, увидел он Землю обетованную. Под ним, прямо и чуть правее, возлежала млеющая под солнцем долина. Моисей знал, что не течет там молоко и мед, как обещал он страждущим красивой жизни соплеменникам.

Но иначе не пошли бы они из Египта в пустыню, куда глаза глядят. Какие-никакие, но были свои дома. Какая-никакая, но упорядоченная жизнь. Какой-никакой, но паек с законами. Рабство – это тяжело для тех, кто знает, что такое быть свободным. А его соплеменники давно это забыли.

Они бы и не ушли, если бы Моисей не пообещал им свой уголок плодородной земли, благодатный и райский. Правда, где-то там, за пустыней.

Ему бы, человеку, не поверили. Может, кто-то, но не все. И тогда он сослался на Бога, которого никто не видел, а значит, внушающего и доверие, и надежду, и страх, и любовь.

Разве могут они все это, и надолго, отдать одному современнику?

Сорок лет прошло с тех пор, как Моисей вывел свой народ из Египта. И медленно шли они, и никого из племен не было вокруг. Только одичалые бедуинские кланы безбрежного Синая. И выходили они к оазисам, и оставались там подолгу,

а благодатная земля – та, что за горизонтом была уже занята другими.

И понял Моисей, что свобода может быть только за счет рабства или уничтожения других. И нет выхода. Но и остаться, даже в ничейной пустыне, он уже не может.

– Зачем мы ушли из Египта? – не раз роптали те, кто пошел за ним. – И где эта обещанная земля обетованная?

И чувствуя, что стареет, похоронив брата и надежных людей, Моисей наконец решился.

Там, внизу, на новых просторах, как сообщали разведчики, есть и вода, и плодородная земля, и разобщенные города филистимлян, еще не знающих, что они обречены. Моисей не стал торопиться – их бы вырезали или вновь обратили в рабство. За ним была не армия, а народ. Свободный, но пастушеский и еще не знающий, как бороться за выживание.

С природой – оно понятно, уже научились, а вот с другими людьми... У природы есть свои признаки, цикличность и законы, а люди беспринципны. Моисей был при власти в Египте и знал это не понаслышке.

Он приказал разбить лагерь, чтобы готовить мужчин к войне и ждать, пока умрут последние из тех, кто родился в рабстве.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.